



СЕРИЯ «АВТОРСКИЕ НАЧЕРТАНИЯ»



ВАЛЕНТИН  
КОСТЫЛЕВ

*Иван Грозный*



# **Валентин Иванович Костылев**

## **Иван Грозный. Книга**

### **3. Невская твердыня**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=174032](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174032)*

*Костылев В. Иван Грозный: Роман-трилогия. Кн.2(Ч.2,3). Кн.3. :*

*Эксмо; М.; 2000*

*ISBN 5-04-001657-3, 5-04-002756-7*

#### **Аннотация**

В нелегкое время выпало царствовать царю Ивану Васильевичу. В нелегкое время расцвела любовь пушкаря Андрея Чохова и красавицы Ольги. В нелегкое время жил весь русский народ, терзаемый внутренними смутами и войнами то на восточных, то на западных рубежах. Люто искоренял царь крамолу, карая виноватых, а порой задевая невиновных. С боями завоевывала себе Русь место среди других племен и народов. Грозными твердынями встали на берегах Балтики русские крепости, пали Казанское и Астраханское ханства, потеснились немецкие рыцари, и прислушались к голосу русского царя страны Европы и Азии.

Третья книга трилогии – «Невская твердыня» – посвящена кануну «смутного времени», последним, самым мрачным годам правления первого русского царя.

# Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

4

Конец ознакомительного фрагмента.

133

# **Валентин Иванович КОСТЫЛЕВ ИВАН ГРОЗНЫЙ**

## **Книга 3. Невская твердыня**

### **ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

#### **I**

В колючих космах головастой сосны, широко взмахивая крыльями, сел коршун.

Царь Иван резким движением руки отодвинул от себя чашу с недопитой брагой. Подошел поближе к окну, прикрыл ладонью глаза от солнечного света.

Коршун вытянулся. Настороженно обводит взглядом хвойные чащи по склонам кремлевских холмов.

В горделивой осанке птицы царю показалось любованье ее своим одиночеством.

«Несмысленная!» – вырвалось из уст царя усмешливо.

Правда, и сам он, государь, приказал построить эту вышку во дворце ради того, чтобы уединяться здесь, в вышине, от

бояр, дьяков, от семьи, но разве царь московский может жить без людей?

И, как бы оправдываясь перед самим собой, подумал, что он, царь, далек от того, чтобы быть довольным одиночеством; эту башню, куда он уединяется, нельзя назвать иначе как «терем раздумья».

Нет! Он, царь, любит многолюдство. Вся жизнь его протекала в бурных волнах житейского моря, в борьбе и опасностях, среди людей, среди друзей и врагов, и если теперь сидит он тут один – причина тому: только что случившаяся ссора с царевичем Иваном.

Праведники-схимонахи советуют стать отшельником, уйти от мира, уступив царство сыну; они говорят, что это успокоит его душу, сообщит ей радость уединенной молитвы и поста, отгонит прочь демонов и откроет путь к священным вратам рая...

Но как же так?! Как оставить царство?! Сегодня он, отец, вдруг поймал в упрямых, жестких глазах сына знак горькой судьбины, ожидающей Русь после его, царской, кончины. Своенравен царевич Иван – многое творит наперекор отцу. Пример плохой боярской знати и воеводам. Многие ждут неурядиц в царской семье. Несогласие отца с сыном должно охрабрит недовольных.

«Прочь, черноризцы! Не надо схимы! Глупые старцы!»

«По грехам моим хилое семя, не дающее всходов...»

О, эти мучительные мысли о будущем!

«Много пролито крови! Немало загублено и невинных душ!.. Церковь горько оплакивает убиенных. Горе велико! Оглянешься назад: кровавые следы устилают путь. А ведь по этому пути он явится к престолу Всевышнего. К последнему ответу!»

Но зачем об этом думать?! Что сделано, то сделано. Так нужно. Грехи не должны пугать, коли впереди царству благо. И не угодно ли самому Богу благополучие Русского царства!

Что было – былью поросло, а ныне – новые заботы, новые дороги. Достойно ли страдать о прошлом, когда силы нужны для будущего?! Еще много – ой как много – надо сил!

Царевич Иван убил стрелою мужика, который оборонялся от его охотничьих псов... Тайный слуга государев Семен Верзилка донес: царевич-де хмельной был и нарочно травил того мужика собаками, а в те поры, когда мужик упал, сраженный стрелой, царевич вместе с Василием Верейским, с Никифором Савицким и другими княжатами – все они громко хохотали и даже непотребно ругались.

То же самое рассказал царю и другой его тайный холоп-соглядатай: царевич-де во хмелю безвинно обижает малых пошлых людей ради потехи.

И говорит: «Это вам не Иван Васильевич! Слаб стал в старости мой отец, жалостлив! Всех в страхе я буду держать, коли стану царем!»

Царевич горд, самолюбив и дерзок.

Иван Васильевич при этих мыслях о сыне поднялся со

своего места и помолился на икону.

«Прости мне мои окаянства! Сам бо есть аз повинен в сем распутстве сына!»

Он вспомнил, как приучал некогда детей любоваться казнями...

Не он ли брал царевича на Красную площадь, чтобы тот видел, как избивали до смерти бояр и заподозренных в измене чернецов Петровского монастыря?.. Да мало ли видел царевич всякого кровопролития!

И разве не он, сам царь, приказал пытать «по изменному делу» Ивана Михайловича Висковатого обязательно в присутствии царевичей? На их глазах покойный Малюта отрезал подвешенному к бревнам бывшему «печатнику» и Посольского двора дьяку Висковатому нос, другой опричник отрезал ему уши, а подьячий Иван Ренут и того хуже... Сам он, царь, со злорадством показывал царевичам изрубленные опричниками тела бояр и их сородичей.

Много раз то было, и всегда царевич Иван с веселым любопытством смотрел, как палачи пытали и казнили изменников.

«Ты – царь – не видел в том ничего плохого. Не думал ли ты, что дети твои должны приучаться быть жестокими с изменниками? От измены гибнет всякое доброе государево дело, но... мужик! Зачем его убил Иван? Царевич стал невоздержан в вине... Доносят на него сенные государынины девки – покоя им не дает во хмелю... Непослушен... скучлив...

нелеп в забавах... двух жен, ради своей прихоти, поощряемый тобой же, отцом, заточил в монастырь».

«И не сам ли ты, государь, был выдумщиком прелюбодеянных срамных игрищ и не ты ли был сам нелеп в нелепых забавах?!»

Все было! Видит Бог, сколь грешен сам царь московский! Но зачем же опять лезут в голову эти мысли о былом, о том, что давно кануло в вечность?! Долой их!

Царевич строптив. Его влечет к себе праздность. Его не трогает постоянное беспокойство отца о судьбе государства. Его не тянет к работе в приказах, не привлекают к себе любимые отцом посольские дела. Но так ли это? У него есть и своя тайная мысль. Увы! Он неодобрительно судит о военных и о мирных предприятиях царя, о его стремлении расположить к Москве иноземных государей.

«Нет ничего труднее, как не работать», – говорил блаженный Августин.

Царь больше всего на свете ненавидит ленивых, а в его, царевой, семье старший его сын, наследник престола, празднично бродит по дворцовым палатам и лениво, с усмешкой, смотрит на других, кто работает.

«Праздность равносильна погребению заживо: ленивец так же бесполезен для целей Божества и людей, словно бы он мертв», – думает царь, опершись головою на руки.

Все это царю Ивану ясно; сам он никогда не сидел сложа руки и детям всегда твердит и своим приближенным, что



«труд – не есть бремя». Но, может быть, он слишком строг к царевичу? Может быть, многое наговаривают на царевича со злобы?

Иван Васильевич приподнялся, высунулся из окна. Коршун сорвался с вершины сосны и, тяжело взмахивая крыльями, полетел в сторону.

Кто-то вспугнул его. Царю послышался хруст сучьев внизу, в гуще сосен.

Вглядевшись туда пристально, царь увидел человека с луком в руке.

Он крикнул постельничьего, приказав ему доставить во дворец дерзкого бродягу, осмелившегося стрелять в птицу на государевой дворцовой усадьбе.

Вскоре неизвестный был доставлен во дворец и предстал перед царем.

Совсем молодой голубоглазый красавец, со светло-русыми курчавыми волосами, румяный, стройный, он стоял перед царем, виновато опустив голову, и в волнении мял шапку. Царю удалось заметить растерянную улыбку на лице юноши.

Молча осмотрел его с ног до головы Иван Васильевич. Лицо царя осенила добродушная улыбка. Незнакомец, заметив это, ободрился.

– Кто ты? – тихо спросил царь. – Каким обычаем попал в государеву рощу?

Постельничий крикнул:

– На колена!

Вздвогнув, поспешно опустилс я юноша на пол.

– Отвечай, теб я спрашивает батюшка государь!

– Дворянин я, безродный. А забрел сюда невзначай, гонялся за коршуном... Задрал он курицу на монастырском дворе... Чернецы меня послали. Прощенья прошу, батюшка государь, не своей волей пришел я сюда!

– У кого же ты, неразумное чадо, под кровлей живешь, и кто теб я кормит и одевает, да и порядку и благочестию приучает, и како царя и князя чтити, и его воле преклоняться вразумляет?! Кто?

Юноша взволнованно, с молящим взглядом, обратился к царю:

– Не пытай меня, государь!.. Безродный я!..

Лицо Ивана Васильевича нахмурилось.

Опять вступилс я постельничий:

– Отвечай государю без утайки.

Юноша, опустив голову, безмолвствовал.

Государь удивленно пожал плечами.

– Отведи для допроса к Борису Годунову.

Постельничий, поклонившись царю до земли, взял за рукав совсем растерявшегося парня и увел его.

Стиснутая со всех сторон густым еловым лесом поляна. Полдень. Солнце легло на красноватое стволье и сизо-зеленые хвойные лапы, ровными рядами многоярусно выпирав-

шие из толщи ельника. Пронзительно покрикивает иволга. Кружатся на солнце серебристые бабочки. Пахнет разомлевшей смолой.

Сюда тайно собрались беглые крестьяне, предводимые Семеном Слепцовым, – мужики из усадьбы князя Шуйского. Были и из других усадеб.

– Теперича, братцы вы мои, – Божьи мы люди, не княжеские... Довоевался наш государик... Исть народу неча стало. И то сказать – не двужилыны мы... Живем – дай Бог терпенья! Юрьев день, и тот Богу душу отдал! Один денек свободы был у мужика, и тот отнимают.

– Знамо, Митрич, не с радости люди в лес ушли. Обеднели! Борода у нас с помело, а брюхо голо.

– Истинно!.. Юрьев день знатно бояре да дворяне слопали. Куда ныне податься?! Вертят нами, как хотят. Словно бы и не люди мы. Царек волю большую своим дворянам дал.

– Так и этак, мои родимые, бросайте все и айда за мной! Сведу я вас к одному человеку. Вольной жизнью заживем. Пра! Будет уж нам перед ними спины гнуть!

Старичок древний, Парамон, перекрестился, тяжело вздохнув, сказал:

– Война-то, знать... на роду писана батюшке Ивану Васильевичу... Да и без толку, Бог его прости!.. И-и-их! Помереть бы уж, што ли! Вот уж истинно: не молодостью живем, не старостью умираем.

– Чего для помирать? Пошумим еще... Жизнь трудна, а

умереть тяжелее. Не для того Господь нас сотворил, чтоб не живши помирать. Уйдем в лес. Будем правду искать.

– А кто тот человек, о коем ты нам, Семен, рассказываешь?

– Иван Кольцо прозывается... бывалый, парень хоть куда! Задорный, отважный, а главное – готов голову сложить за правду. Горячий! Новый человек. Невиданный! Неслыханный!

Не пришлось долго раздумывать – двинулись мужики в чащу леса. Вожак, Семен Слепцов, впереди. На вид будто и неказистый, но юркий, веселый; был он в походах, воевал в Литве, в Ливонии, исходил немало земель, но лучше своей родной земли ничего не нашел. И был у него приятель – московский человек, который говорил ему: «Земля наша добрая, крепкая, на ней не пропадешь, да лишку народ-то смирен, не смел, силы-де он своей не знает. Задумчив наш народ, вот и страдает. Гляди, что сотворилось! Конца света мужик стал ждать! Нешто это можно? Восстаньте, не спите!»

Он говорил Семену будто и о том, что, коли царство русское большим стало и уделов княжеских в нем уже нет, того ради и сила мужицкая выросла непомерно... Рязанец да нижегородец теперь единая плоть, единая душа и единая пятерня, а все вместе удельные мужики теперь, коли поднимутся, грозе небесной уподобятся. Несдобровать в ту пору и царю, и вотчинникам!

– Это надо бы вам понять, убогие овцы! Человек тот молодой, но грамотный, – сердито ворчал Семен, передавая его

слова своим односельчанам, когда они начинали падать духом.

– Забавно говоришь! – отвечали ему. – Да токмо не разумительно. Мужик – птица малая, да и несогласная. Смешно! «Единая душа»! А вона вчера ясеновские дубьем поколотили сержинских. Семеро, Господь их прости, в той схватке Богу душу отдали. Вот те и «единая душа». Согласия нет, да и не будет. Разные головы. А ты нам толчешь, как в ступе, одно и то же – «непомерная сила, непомерная сила». Буде попусту мозги наши затуманивать! Говори прямо: не под силу стало ярмо дворянское. Вот и все, а дальше мы и сами разберемся.

День ото дня все яростнее, с упреками в слабости, набрасывался на своих односельчан Семен Слепцов. И вот теперь он все же настоял на своем – из деревни Теплый Ключ, в вотчине князя Шуйского, почти все мужики пошли за ним в лес. Что-то подсказывало им, будто Семен и впрямь учит добру, да как-то и самим-то становилось день ото дня яснее, что от хозяина вотчины их – царского слуги Василия Шуйского – добра не жди. Чем дальше, тем тяжелее посошному люду, а царь далеко, да и не станет он на сторону крестьян. Такого дела никогда не бывало. Наоборот, – коли поднимешь голос да на рожон полезешь, – то и плетей со всех сторон не оберешься, и на дыбу попадешь.

Сам Бог велел распрощаться с боярской вотчиной и уйти куда глаза глядят.

Долго ли, мало ли шли, но в одно прекрасное утро очутились лицом к лицу с Волгой.

Семен забрался на самое высокое место берега и воскликнул что было мочи:

– Вот она, наша родная! Э-эх, Господи! Полюбуйтесь!

Стояли мужики, сняв шапки, и глядели на Волгу с восхищением, а Семен, помолчав немного, еще громче крикнул:

– Не обидел меня Господь памятью. Привел вас, братцы, куда надо! Привел к Волге-матушке! Она – заботлива.

Широкая, спокойная в своем величии, древняя река подняла в людях гордые мысли. Кругом небо, зелень, вода – вот где познаешь, что не для неволи рожден человек.

Мужики обступили вожака вплотную:

– Спасибо, братец! Видим, твоя правда!

– Верьте мне, землячки, добьемся своего! Ей-Богу, добьемся!

– Коли так, низко тебе, сокол наш, кланяемся! Спасибо тебе, родной! Путь свой видим.

Семен рассказал мужикам, что место то, где стоят они, и есть конец их путешествия.

– Взбирайтесь сюда, на бугор! Вон взгляните на ту реку, что в Волгу уткнулась. Сура! Река Сура. А на горе, по ту сторону, церковь да домишки с частоколом. То Васильсурск. Василий, великий князь, от татар поставил. В сих местах мы и найдем Ивана Кольцо, в диком логове... малость повыше по Суре. В ямах его стан.

Народ шумно приободрился. Взглянули на Семена: лицо веселое, бедовое. Видать, не без причины. Видать, не обманывает.

– Ну, отдохнули, кречеты? Двигаемся дальше! Коли начали правду, так уж будьте твердыми.

Спустились по глинистому откосу к берегу Суры, побрели среди кустарника, вверх по течению. Тяжеленько; сучья цепляются, ноги вязнут в глине после дождя; устали ребята – согнулись под грузом котомок, набитых всякой снедью; шли, опираясь на вилы, копья, посохи. Вспотели, покрылись грязью – уж скорее бы до места! На ногах пудами глина.

В темно-зеленой глади воды, когда приблизились к ней, отражение облаков, застывших на ласково голубом небе. Зашлепала крыльями стая журавлей, поднявшись в воздух. Пахнет душистой прелью пышная, вспоенная дождем зелень. На том берегу Суры вековые дубы и вязы – глухо! Птицы слабым пискom дают о себе знать.

Слепцов, то и дело оглядывая свою ватагу, приказывал соблюдать величайшую осторожность. Васильсурский воевода начеку, кругом города стража – ждут нападения казанских татар. Казанское царство хоть и покорено, но еще немало татарских князей, не признающих власть московского государя. И выходит: опасайся и воевод и татар! И тех и других. Хоронись в зеленях с умом, без шума.

Почти с головою скрываясь в высоких травах и кустарниках, пробираются по берегу Суры мужики; там, в деревне,

остались одни женщины и дети. Тяжко было бросать их на поругание княжеских холопов Шуйского. Но, может быть, удастся вернуться и силою отстоять справедливое дело?!

Едва слышно шуршит трава. Над головою кружат многоцветные бабочки и стрекозы. Колышется от легкого дыхания ветра серебристая листва прибрежных осин. Ивняк склонился над рекою, касаясь остроконечными листьями воды.

Густые заросли полны влаги: тут и роса, и непросохшая сырость от дождей. Лапти не выдерживают, промокают. Дурманит головы пьянящий, медвяный запах прелых корневищ.

– Скоро ли? Сема, братец, помилосердствуй, ноги ведь отваливаются!.. – опять начался ропот.

– Потерпите, братцы... не тяните, ради Бога, душу! – озабоченно озираясь по сторонам, отвечает Слепцов. – Сам знаю.

Не сладко ему! Обузу принял на себя великую. Легко ли поднять на ноги деревенских мужиков, чтоб добыть им свободу и легкую жизнь! Не попасть бы впросак! Лучше уж смерть, нежели стать обманщиком своих односельчан.

Но нет! Тут он, Семен, уж раз побывал и место запомнил отчетливо, и не может того быть, чтобы не нашел он гнезда атамана Ивана Кольцо. Не на день и не на два поселился на Суре лихой донской казак. И собирает он мужицкую рать не для забавы и не ради пустошной затеи, а для блага самих же посошных людей.



Широко распахнув свой голубой атласный кафтан на малиновой шелковой подкладке, сидел в своей палате румяный веселый Борис Федорович Годунов – любимый государев слуга, – внимательно выслушивая исповедь приведенного к нему по приказу царя неизвестного парня.

Вся внешность Годунова: тщательно расчесанные его кудри, подстриженные борода и усы, опрятно, красиво сидевший на его стройном стане кафтан – все говорило о мужественной молодости, чистоплотности, самоуверенности и порядливости царского слуги.

Юноша чувствовал себя в его присутствии бодро, и в ровном спокойном голосе его зазвучала подкупающая свою простотою, ничем не стесняемая правдивость.

– Люди добрые говорят, родом я из Заволжья... и боярская кровь течет во мне... Скрыли ребенком меня... Отца казнили по воле царской... Так говорят. Правда ли то, не знаю. А мою матушку-де заточили в монастырь... Сам я ничего о том не ведаю: кто и чей я, да и где она, матушка. А утаили меня колычевские люди и отдали на воспитание инокам в монастырь. Старец один княжеского рода взрастил меня на подворье.

Борис Федорович слушал парня с большим любопытством.

– Ну, а как имя твое, добрый молодец?

– Зовут меня Игнатий Хвостов.

Годунов погладил себя по лбу, как будто что-то припоми-

ная.

– Скажи мне, Игнатий, каким обычаем ты попал на государствену усадьбу, да и у кого ты ныне проживаешь?

Хвостов тяжело вздохнул:

– Тяжко мне стало жить при монастыре, да и старец тот помер, и увезли меня монахи счастья искать в Москву. Приютили на колычевском дворе, что за Земляным валом, в Березках...

– А и кто же тебя, отрок, туда послал?

– Старец покойный Феодосий не один раз мне говаривал: «Умру-де я, так иди к колычевскому двору на Москве, скажи-де: старец Феодосий послал посмертно».

Борис Годунов задумался, лицо его стало сумрачным.

– А кто ж там ныне из Колычевых живет?

– Старушки две убогие... Мужиков никого нет. Приютили они меня, спаси их Христос! Добрые они.

– А Степана Колычева нет?

– Не бывало такого... Не слыхивал я.

Борис Годунов задумался.

– Не рука тебе, парень, жить у Колычевых со старухами, – сказал он, неодобрительно покачав головою. – Надобно тебе к делу навывать, чтоб добрым слугою государю быть. В Русском царстве много дорог, а иные и в трясины заведут. И велено мне батюшкой государем поставить тебя на верный путь. Дитина ты видный, да и порчи на тебе не примечаю, так оно и государю показалось, а из таких-то дородных де-

тин и хорошие слуги царю бывают... Поселю я тебя у моего дядюшки, у Никиты Годунова, а он ныне Стрелецким приказом ведает. Будешь учиться у него, а чему – узнаешь. Человек он благохотящий, с добрым христианским сердцем.

– Воля государева – божья воля, – смиренно ответил юноша.

Борису Федоровичу по душе пришелся ответ его.

– Да будет так!.. – сказал Годунов, погладил по плечу Хвостова. На щеках Игнатия, как у красной девицы, выступил густой румянец, а голубые глаза стыдливо скрылись под густыми черными ресницами.

Годунов еще раз, с дружелюбием во взгляде, осмотрел с ног до головы стройного молодого красавца и сказал громко и ласково:

– Дерзай!.. Иди смело прямой дорогой... Добивайся счастья. Оно будет у тебя.

В честь закладки нового пристанища на Студеном море в храме Спаса на Бору шло богослужение. Басистый дьякон Вахромей Шувалов потрясал своим громоподобным голосом воздух, читая любимую царем главу из Второй книги пророка Ездры:

– «О мужи! Не сильны ли люди, владеющие землею и морями и всем содержащимся в них?»

«Но царь превозмогает, и господствует над ними, и повелевает ими, и во всем, что бы ни сказал им, они повинуются

ему».

«Если же скажет, чтобы они ополчались друг против друга, они идут и разрушают горы, стены и башню».

«...и убивают и бывают убиваемы, но не преступают слова царского; если же победят, все приносят царю, что получают в добычу, и все прочее».

«И те, которые не ходят на войну и не сражаются, но возделывают землю, после посева, собравши жатву, также приносят царю и, понуждая один другого, приносят царю дани».

«И он один, если скажет: „убить“ – убивают; если скажет: „отпустить“ – отпускают; сказал: „бить!“ – бьют; сказал: „опустошить“ – опустошают; скажет: „строить“ – строят; сказал: „срубить“ – срубают; сказал: „насадить“ – насаждают».

«И весь народ его и войско его повинуются ему». «О мужи! Не сильнее ли всех царь, когда так повинуются ему?»

Иван Васильевич, за которым внимательно следили стоявшие позади него ближние бояре и иные царедворцы, думал о том, что пройдет год, два, три, и он снова поведет свои войска к Западному морю. Нет! Русь не побеждена; ее оттеснили от моря, но она оправится и с новой силой потянется к морю. Нужно поднять дух в народе. Нужна сильная власть. Студеное море поможет опять овладеть Варяжским морем. Недаром то море омывало уже в своих водах московские корабли. Так было!

Будут ли сочувствовать ему бояре, его советники, все преданные ему воеводы и дьяки, если он откроет им, что ему не

хочется умереть, не укрепившись на тех берегах?! Пока об этом надо молчать, хранить тайну в себе. Теперь не время, не настал еще час возвестить свою волю народу.

Голос дьякона Вахромья гремел на всю церковь:

– «...Горе тем, кои думают скрыться в глубине, чтобы замысел свой утаить от Господа, и которые делают дела свои во мраке».

Царь вздрогнул: «Не мне ли, о Господи, эти слова пророка?!»

Нет! Он, царь всея Руси, таит в себе свои замыслы на пользу святой церкви, на благо христианской дедовской родной земли! Неужели Господь покарает его за это?! Увы! Не в том провинился он, царь, перед Всевышним! Виновен царь в бесплодном пролитии крови своих воинов. Ради чего шла эта долгая, страшная война? Все это понемногу отнимают у него, у русского царя.

Вчера он открыл наугад Библию и прочитал первое попавшееся ему на глаза место из книги пророка Исайи:

«...как лев, как скимен, ревуший над своею добычею, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется и множеству их не уступит...»

Так и он, царь Иван, будет стоять на своем: море Варяжское – Балтийское – было и должно вновь стать русским, ибо оно с древних времен принадлежит Руси, ибо много крови доблестных россиян было и будет пролито за Балтийское море.

Он, царь, несокрушимо верит в это.

Никому из следивших за царем вельмож и в голову не могло прийти, что царя мучают, терзают мысли о новой войне во имя возвращения утраченных в Ливонии земель...

Иван Васильевич сидел на возвышенном месте суровый, неподвижный, опершись на свой из слоновой кости посох. Голубой с малиновым шитьем парчовый кафтан облегал его высокую, немного сутулую фигуру с гордо поднятой седеющей головой. Он совсем не был похож на кающегося грешника, на человека, охваченного страхом и сомнениями. Вид царя говорил скорее о сознании им своей правоты, непогрешимости и силы. Пускай седой волос упрямо топорщится из-под его черной бархатной мурmolки, пускай морщины избороздили его лицо и явно обозначилась сутулость – царь всея Руси Иван Васильевич одинаково загадочен и страшен для своих врагов, как то было и встарь...

По окончании службы Борис Годунов и Богдан Бельский под руки свели царя с возвышения и подвели его к митрополиту под благословение.

– Да пребывает слава и милость Господня над тобою, владыка всех владык! – проговорил митрополит, дрожащею рукою осеняя крестом лицо царя.

Возвращаясь тайным ходом во дворец, царь сказал Годунову и Бельскому, что он весь мир удивит тем морским могуществом, которое вскоре обретет Русь на суровых берегах северного, Студеного, моря, и что он, сам государь, снова по-

едет на север, чтобы осмотреть, как готовят корабли и снасти для больших переходов морских судов Беломорья.

## II

От короля Стефана Батория пришло письмо, которое заставило крепко призадуматься царя Ивана. Баторий писал в ответ на государево письмо – будто тому, что не родился он, Баторий, королем, он теперь только радуется. Ведь достиг он королевского сана в силу своей доблести и ума. А панами избран так же строго, как избираются папы кардиналами.

На просьбу царя прислать послов Баторий ответил, что пришлет послов в Москву только через сорок лет, а может быть – и через пятьдесят, так как ему нет никакой необходимости в том.

Это прочтено было в присутствии бояр и дьяков и заставило царя густо покраснеть. Он видел явную дерзость со стороны польского короля, однако ему показались очень любопытными слова Батория. На его лице появилась даже улыбка.

– Остер на язык угорский князь! – произнес он. – Остер и разумом силен. Не знавал я ранее таких-то. Неприятель необыкновенный.

Царь добавил, будто ему даже нравится, что Баторий не гордится происхождением и родом, а прямо говорит, что получил королевский сан как дар за труды от польских панов. Одно смущало: стало быть, он панскую раду ставит выше се-

бя?! Ну, а если он, Стефан, не угодит панам, они же его могут и снять с престола?! Ему надо побеждать, ему нужны удачи, чтобы усидеть на королевском троне, который он получил за усердие из рук панов.

– Когда так, – сказал царь Иван громко и твердо, – мы должны поссорить короля с панской радой. Псков, к которому направляет свое войско король, должен стать могилой его славы, славы непобедимого! Пускай будет раскол у короля с панской радой!

В том же письме Стефан Баторий говорил о своем праве на Ливонию и требовал громадную сумму денег на покрытие военных расходов, произведенных им на московскую войну. А покойную мать царя Ивана, Елену Глинскую, он назвал «дочерью изменника польскому королю Сигизмунду».

«Осмелел, вор! – нахмурился Иван Васильевич. – Пора проучить тебя».

На другой же день царь собрал во дворце некоторых, самых близких к нему, воевод и обсудил с ними, что и как делать, коли войско королевское начнет осаду Пскова.

На совет сошлись князья – Иван Петрович Шуйский, Василий Федорович Скопин-Шуйский, Иван Андреевич Хворостинин, казацкий атаман Николай Черкасский, Михаил Косецкий, Николай Иванович Овчина-Плещеев, Владимир Бехтеаров-Ростовский, Иван Бутурлин и многие другие, преданные ему, царю, воеводы.

Рядом с царем в особом кресле сидел вызванный из



Пскова в Москву высокий, с длинной, узенькой, остроконечной бородой, архиепископ псковский и новгородский Александр, один из любимых царем духовных советников.

– Созвал я вас, отец Александр и мои добрые воеводы, чтобы сказать вам свое слово государево о нашем именитом граде Пскове, извечном страже российских земель, прославленном в веках преданностью вере христианской и крепостью воинской. Враг сильный, хищный крадется к сему граду, обрадованный своими прошлыми победами. Он похвастается покорить Русь и взять святой стольный град Москву. Бог посылает нам испытание. Возомнили мы о себе не по делам нашим, думали о себе, как гордецы, без смирения, но с великим задором. Однако Господь Бог гневен, но и милостив. Вспомним же о том, что было так недавно... Едва ли не три века Русь томила под игом Золотой орды! Но подо льдом той неволи наливалась крепкою силою Русь, разрослась, взломала тот лед и сбросила с себя поганую бусурманскую неволю. Крепка Русь! Какой народ в страданиях и муках умудрился бы сохранить и умножить в течение трех веков подневолья свою силу, сберечь в чистоте свою веру и сбросить с себя то идолище поганое?! Дивное на Руси стало ясным, несовершенное – былью, и те, кто владел нами, ныне состоят слугами нашими... Господь никогда не покидал Русь на полях брани и никогда не покинет. Подымите же и вы, псковитяне, на городской стене хоругвь непобедимости! Верю я – услышаны будут моление и слезы наши, и оного ко-

роля Стефана Батория вы победите, и он отыдет от крепости нашей посрамлен!

После речи царя поднялся во весь рост седобородый, закованный в кольчугу псковский воевода князь Иван Петрович Шуйский. Он низко поклонился царю, затем архиепископу Александру и громким, мужественным голосом произнес:

– В Библии сказано: «Святой Давид возста рано и тече в полк». Господь Бог испокон веков направляет руки воинов верных на ополчение, персты их прилагает на брань!.. Крест целуем тебе, государь!.. Не сдадим Пскова!

При этих словах быстро встали со своих мест все находившиеся в государевой горнице воеводы и вынули из ножен мечи.

– Вот оно, наше оружие! От битв неудачливых оно не затупилось, а стало еще острее, – продолжал Шуйский, – и дух наш не угас, а разгорелся паки и паки ярче! Ужасен огонь внутри твоих воинов.. Он пожжет слабость, коли она была у кого, и поглотит вражью гордыню... Псков мы отстоим, батюшка государь, либо погибнем все до единого в бою за тебя и родную землю! Верь нам! Мы – твои верные слуги.

Поднявшись со своего кресла, царь положил руку на плечо князя Ивана Петровича Шуйского.

– Верность ваша в услугах и правда в словах хорошо ведомы всем. Чтобы испытать правдивого, честного человека, мне надобны теперь годы, а неверного и злого раба узнать

— довольно одного дня. Научила меня тому жизнь! На долю вашего государя выпало тяжелое бремя одолевать внутреннее нестроение нашей земли и воевать многие годы со всякими злохищными врагами. Денно и ночью глядят они пожирающими очами на Русскую землю... Зависть и злоба скупают сердца наших соседей. От них же есть и зазнавшийся холоп Стефан. И он вознамерился своровать некоторые города и села наши... Многое множество праведных воевод в моем войске. Спокоен я. Из них ты, Иван Петрович, мне особо дорог, и того ради будь начальником над всем воинством во Пскове. Покажи Стефану богатырство наше! Проучи его!

Князь Шуйский, став на одно колено, поклялся царю, что он или победит, или умрет в бою как честный воин.

То же сделали и остальные псковские военачальники.

Архиепископ Александр благословил их оружие.

Когда воеводы ушли из горницы, царь оставил у себя архиепископа, чтобы побеседовать с ним.

Александр известен был царю как хорошо знающий дела польско-литовского королевства. Многие литовские люди, отколовшись от униатов, перешли на сторону псковского духовенства. Они были слугами архипастыря Александра.

Царь спросил его, что он думает, что знает о Стефане Батории и в каковом новый король согласии с польской радой.

Александр нахмурился, потер лоб, ответил тихо, как бы про себя:

— Непокорен и своенравен Стефан, но ума превеликого...

воин храбрый, дерзкий...

Иван Васильевич, взволнованный ответом архиепископа, схватил его за руку:

– Стой!.. Так ли, святой отец?! Правда ли то?! Сказывай.

В глазах царя явно проглядывало недовольство.

– Правда, государь!.. Не верь тому, что болтают о холопстве Стефана у панов... Нет! Они его боятся. Король на первом же сейме громко изрек: «Не в хлеву, но вольным человеком я родился, и было у меня что есть и во что одеться, прежде чем прибыл я в вашу страну. Люблю мою свободу и храню ее в целости. Королем вашим я стал, волею Божией вами избранный, прибыл сюда вследствие ваших просьб и настояний, и вы сами возложили мне корону на голову. Поэтому я вам настоящий король, а не король, нарисованный на картинке. Хочу царствовать и приказывать и не потерплю, чтобы кто-нибудь правил надо мною...»

– Стой! – еле переводя дыхание от волнения, произнес царь. – Так и сказал он?!

– Точно, великий государь, так он и сказал в лицо панам...

– Слушаю... говори дальше! Хорошие слова! Что еще он сказал?!

– Паны притихли, а он с гордой осанкой, словно бы и природный владыка, далее изрек: «...Будьте стражами вольности вашей – это дело доброе, но я не позволю вам стать хозяевами для меня и моих сенаторов. Храните вольность так, чтобы она не вылилась в своеволие». Вот и все, государь.

Царь сидел молча, с какою-то непонятной для Александра улыбкой. Затем, опять обратившись к архиепископу, спросил его тихо, вкрадчиво:

– А знаешь ли ты, что после смерти Жигимонда они хотели меня либо царевича Федора посадить себе на престол?!

– Доподлинно, государь. Оное всем ведомо. И ныне в Литве есть сторонники того же.

– Я сказал бы так же панам, как сказал им угорский князек. Здесь его сила. Жигимонд был слугою рады. Не любил я его за то. Он цеплялся за изменников, подобных Курбскому, слушал их, стоял за них... Стефан – горд. Слыхал я – не особо жалует он их. Его не удивишь изменой; он – сам перебежчик, сам бродяга, сбежавший со своей родной земли. Норов их ему известен. Его не обманешь.

Немного подумав, царь спросил:

– А как ты полагаешь, святой отец, не поссорятся ли с ним паны, коли мы отстоим Псков?! Не отстанут ли они от него, когда там счастье изменит ему?!

– Паны ненадежны, верно, государь! Плохо быть их королем! Господь в своей неизреченной премудрости отвел чашу сия от уст твоих... Вместо радующего сердца вина ты испил бы яд горечи и неправд. А коли Псков устоит, Стефан не уживется с панами... То надо предвидеть.

Иван с нетерпением перебил архиепископа:

– Тем более горько ему будет, ибо он не королевской крови правитель. Господь Бог накажет его за дерзость! Престол

государя должен занимать человек королевской крови! Па-  
ны сами почитают происхождение и кровь. Их высокомерие  
сильнее гордыни моих бояр.

– Истинно так, государь! – ответил архиепископ. – Недол-  
го будет их любованье лихостью угорского выскочки.

Иван Васильевич улыбнулся, недоверчиво покачав голо-  
вою.

– Но не будет ли царству убытка от малоумности иного  
правителя королевской крови?.. И то бывает.

Царь насторожился, ждал ответа.

– При разумных и добрых советниках любой король мо-  
жет быть полезен своему королевству, – сказал Александр.

– Ты прав, святой отец. То и сам я вижу. Свейский король  
Иоанн, спихнувший своего брата Эрика с престола, великую  
силу обрел ныне... Не украшен сей король мудростью, но бо-  
роться нам стало с ним не под силу... Его воевода Делагар-  
ди теснит нас от Варяжского моря... Свейское войско крепко  
стало в Эстляндии... Видим это. Ой как видим!

Немного подумав, царь добавил:

– И надолго. Думается мне – нашему царству великая  
угроза настанет в будущих временах от Свейского королев-  
ства... Разъединил нас свейский Иоанн с Данией. И в Поль-  
ше его люди сильны. Тот король со своей женой Екатериной  
Ягеллонкой держат руку Польши и Литвы... И впрямь, ум-  
ные советники окружают Иоанна... Счастье его!

Тяжело вздохнув, царь вдруг поднялся, распрощался с ар-

хиепископом Александром и торопливой походкой удалился во внутренние покои...

На другой день утром в Кремле, в Успенском соборе, митрополитом был отслужен молебен. После службы все воеводы перед иконой Владимирской Божьей Матери дали царю клятву, что не сдадут Пскова.

Под вечер длинный караван с пушками и ядрами, с бочонками зелья, предводимый воеводами, выступил из Москвы в направлении к Пскову.

Впереди на громадном косматом коне ехал сам псковский большой воевода Иван Петрович Шуйский. Сверх кольчужной рубахи на груди у него сверкал золотом и драгоценными камнями большой нагрудный крест, который перед самым его выходом из Москвы надел на него своими руками царь Иван.

Шуйский бодро, с веселой улыбкой то и дело оглядывался на ехавших позади него всадников, в первых рядах которых были самые любимые его помощники: Василий Скопин-Шуйский, Иван Хворостинин и казацкий атаман Николай Черкасский.

На телегах в обозе около пушек и ядер сидели туго затянутые красными кушаками пушкари, перекидываясь шутками и прибаутками. Им было весело; они засиделись в Москве. Они довольны, что их снова двинули «на дело».

Архиепископ ехал в закрытой повозке, окруженной верховыми чернецами. У каждого из них на поясе была сабля.

– Вот вам, угощайтесь! – осадив коня и поравнявшись со своими воеводами, сказал Шуйский. Он вынул из кожаной сумки медовые лепешки, раздал им. – На дорогу напекли.

И, тяжело вздохнув, добавил:

– Погоревали мои бабы, повыли... будто на смерть меня провожают... Глупые!

И вновь после этих слов поскакал к своему месту, во главе военного каравана, широкий, прямой, гордый – главный воевода Пскова князь Шуйский.

### III

Царь в сопровождении ближних бояр отправился пешком на прогулку вокруг Кремля.

На берегу Москвы-реки, близ Тайницкой башни, на встречу попался высокий, сухой старец, калика переходной. Шел он босой, в рубище, смотрел из-под пучков седых волос неодобрительно на царя и его свиту. Иван Васильевич приказал остановить его.

Странника подвели к царю.

– Куда бредешь, борода?! – с усмешкой спросил Иван Васильевич.

– Ищу места, где бы не рубили голов людям, – смело глядя царю в глаза, тихо проговорил старик.

– Не найдешь, дед, ныне такого места... Коли оно было бы, тогда зачем людям на небе рай? Мученики, святые страдаль-



цы не рождаются таковыми — им помогли злые люди, огонь и плаха стать всеми чтимыми праведниками. — Иван Васильевич зло усмехнулся.

— Глумишься ты не от спокойного сердца, государь. Совесть твоя недужит. Будь поистине мудрым владыкой. Вот что! — с раздражением в голосе произнес странник.

— Кого ты называешь «мудрым владыкою»? — строго спросил царь.

Странник слабо улыбнулся, ответив тихо, как бы про себя:

— Кто из владык мудр?! Тот, кто умеет быть владыкою над самим собою. Сила власти его познается в этом. Мудр тот, кто у всех чему-нибудь учится, даже у рабов своих. Кто не кичится своею силою, властью, богатством и роскошеством. Не попусту сказано в послании Иакова: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящихся на вас!.. Богатство ваше сгниет, и одежды ваши будут изъедены молью... Золото ваше и серебро изоржавеет...» Верь, государь, кто знает пределы желаний своих, тот...

— Довольно, старче! Молчи! О, если бы я мог узнать истинные побуждения твои! Зачем ты говоришь мне об этом? — взволнованно произнес царь. — Кто ты такой?

— Если бы, государь, люди научились каким-либо обычаем узнавать чужие мысли, то на земле началось бы ужасное кровопролитие, и люди истребили бы друг друга все до единого, и погиб бы навеки человеческий род. Бог лишил людей дара узнавать чужие мысли. Этим он помешал гибели чело-

веческого рода, но помог людям жить, блаженствовать, наживаться, обманывать друг друга.

Иван Васильевич задумался. Обернувшись к любимому своему боярину Богдану Яковлевичу Бельскому, сказал:

– Возьмите его! Сыщите: кто он, какого рода-племени? Не по душе мне речи его. Не простой он мужик. Хитер. Скрытен. Красно говорит.

Несколько стрельцов окружили странника, схватили его и поволокли в Кремль.

– Отпустите меня!.. Я сам пойду!.. – громко крикнул он, гневно сверкнув глазами и замахнувшись на них посохом.

Богдан Бельский – оружничий и телохранитель царя – подбежал к страннику, ударил его изо всех сил посохом:

– Молчи, смерд!

Иван Васильевич остановил его:

– Не троньте! Уведите. Дела плохи у меня, видимо, стали. Дождавшись, когда странника увели, царь продолжал:

– Земля моя в пустошь изнурилась. Вот почему охрабрились бродяги. Того и гляди, помилуй Бог, падет Нарва, Ивангород. Моим послам в стане Батория наносят обиды и даже были побои, чего не смели делать прежде. Ваш царь испивает чашу стыда, им заслуженную. И не дивлюсь я, что даже смерды стали дерзкими. Чую, повсюду меня порицают... Баторий вознесся гордынею до того, что требует у меня уже города северские, Смоленск, Псков, Новгород и даже Себеж, да четыреста тысяч золотых венгерских! Степка Баторий, чело-

век не королевского рода, холоп, ставший королем! Лучше бы мне умереть, нежели видеть все это своими очами... Чего не сделал я до сего дня, Бог указывает мне сделать впредь!

– Великий государь, батюшка Иван Васильевич, – низко кланяясь, наперебой, подобострастно заговорили окружавшие царя вельможи, – нет такого государя в мире, чтобы он затмил твою достохвальную заботу о царстве, о строении новых городов и посадов...

– Чебоксары!

– Козьмодемьянск!

– Болхов!

– Орел!

– Епифань!

– Венев!

– Арзамас!

– Алатырь!

– Кокшайск!

– Тетюши!

И еще много городов называли они, стараясь друг друга перекричать.

Богдан Бельский сказал, что на рубежах до осьмидесяти крепостей русских, а в них и ратные люди, и пушки. Сумеют они оградить царство со всех сторон.

Царь замахал на них руками:

– Полно! Полно! Не шумите! Слышу, не усердствуйте!

Когда стихло, он сказал с упреком в голосе:

– А Москву... родной наш город... колыбель царского рода... Москву не уберегли! Не постыдно ли?! Отдали ее на сожжение крымскому хану. Кругом Кремля развалины и пустыри. Десять лет прошло с той поры, а мы до сего дня не можем оправиться от того пожара. Вшестеро менее прежнего стало народу в Москве. Спросите у бродяги, коего вы отправили в каземат, переживет ли добрая слава худую обо мне? Он скажет: худая слава останется на все времена о царе Иване. Молитесь же Богу, чтобы не покинула меня бодрость духа, чтоб снова поднялся я на высоту трона.

Иван Васильевич приблизился к реке, поднял камень и бросил в воду. Задумчиво всматриваясь в круги, туда, где утонул камень, он сказал, усмехнувшись:

– Вот и нет его!.. Так и царь ваш. А тогда что?!

Он закрыл глаза и долго стоял неподвижно, не трогаясь с места.

– То-то и Курбский, и иные изменники радуются там, в Польше, нашему горю! – тихо про себя промолвил он и вдруг громко сказал, грозясь пальцем на запад: – Рано радоваться!.. Русь сильна! Русь – святая! Не задавить ее! А царь одному Богу ответ будет держать!

Опустив голову, он стоял некоторое время в раздумье.

– Ну, вернемся во дворец. Холодно мне, дрожу.

Через Тайницкие глухие ворота царь со своей свитой последовал в Кремль...

Борис Федорович Годунов, находившийся среди вельмож,

сопровождавших царя, держался в стороне. Ему всегда было не по себе, когда ближние к царю бояре рассыпались в льстивых словах угодничества. Тогда он молчал. Ему хотелось вести беседу с царем по-деловому. Он твердо усвоил себе, что главная основа царской власти – мелкий служилый люд, дворяне, дети боярские, дворовые и городовые, сидевшие в обезлюдевших поместьях и вотчинах. Они далее не в силах выносить на себе тяготы военного времени. Ведь на них и на их тяглых людей свалилось все бремя ливонской войны и охрана рубежей от Польши, Литвы и татар. Военная повинность не давала им и короткого отдыха. Военные неудачи в самом деле потрясли государство до основания. Мечта о Варяжском море завела самого царя и весь народ в тупик. Как выйти из этого тупика? Вот о чем надо говорить с царем его ближним людям.

Иван Васильевич заметил молчаливость Годунова.

– Ну что же ты, Борис, все помалкиваешь? Аль и ты приуныл, аль и ты в досаде на своего государя?!

Годунов вздрогнул, очнулся от раздумья.

– Унывать да плакаться, государь, только Бога гневить. Не таков я. Как ни тяжело нам – сил у нас много. Птице даны крылья, человеку – разум. Бог милостив – сумеем послужить государю и родине с честью!

Годунов искоса бросил недружелюбный взгляд на любимцев царя: Богдана Бельского и Никиту Романова. Не доверял им Борис, опасался их соперничества у трона. Лелея мечту

быть первым у царя, Годунов старался держаться в стороне, когда другие норовили стать поближе к царю.

— Дело молвил, Борис! — сказал с добродушной улыбкой царь. — Мы еще с тобой на Студеном море попируем да иноземным гостям таких дворов понастроим, каких ни у одного короля не найдут. Созови-ка ты мне поморцев-мореходов. Обсудим с ними сообща: как нам по ледовым водам ходить... Люблю слушать их. Да и крепость им надо там иметь, чтобы она страшилищем для недругов была... Пушек сгоним туда поболее, к монастырю святого архангела. Андрейку Чохова с товарищи поднимай. Пускай оснастят нарядом крепость на том море. Заставы крепкие надобно там понаставить. Береженого Бог бережет. А тут, в Москве, помолимся, чтобы север поборол запад. Пускай и в холоде не угасает царская дума о Западном море!

В полночь царь Иван разбудил постельничьего Михаила Поливанова и сказал ему, чтобы привели во дворец того человека, с которым повстречался он, царь, на берегу Москвы-реки, под кремлевской стеной.

Не спалось царю: мучило сомнение — не угасла ли в народе покорность после неудач, которые постигли московское войско на полях сражения?! И вообще, что думает теперь черный люд о своем государе? Пристава и послухи уверяют, что в народе — прежняя любовь к царю. Но как этому верить?! Он, государь, хорошо знает повадки своих слуг розыскного

дела. Они запуганы им же, самим царем. Разве не он зачастую избивал своих послухов за плохие вести, которые они ему приносили?! Теперь они из опасения разгневать царя говорят одно хорошее, избегают правды, не хотят гневить его. А у этого бродяги глаза дерзкие и речи смелые: человек решился на все и не боится темницы и плахи. Такого любо послушать с глазу на глаз, без посторонних людей. Он может оказаться полезнее приказных соглядатаев, сумеет вовремя остановить царя. Кто бы ни был он – одно правда: этот бродяга лучше его, царя всея Руси, знает народ. В этом его сила. В этом его власть над царем. Да! Власть.

Он, царь, теперь недаром с тайным нетерпением и тревогою ожидает привода бродяги.

Послышались шаги. Тяжелые, неторопливые шаги, лязг цепей. Иван Васильевич приоткрыл дверь в коридор, заглянул – темно, шаги приближаются. Холодок пробежал по телу.

«Он!» – Царь перекрестился на икону, сел в кресло, принял вид осанистый, гордый. Бледный свет огней полночного светильника серебрил парчовую ткань царева кафтана. Напряженно, в ожидании, вытянулось исхудалое, крупное лицо царя Ивана.

Раздался стук в дверь.

– Войди! – суровым голосом негромко произнес царь.

В горницу вошел Поливанов, ведя за руку умышленно, с озорством гремевшего ножными цепями дерзкого, непокор-

ного узника.

Царь приказал Поливанову удалиться в соседнюю горницу. Некоторое время молча вглядывался он в лицо незнакомца. Да, глаза не те, что у царедворцев: зеленые, простые, гордые, слегка удивленные, как у святых мучеников на иконах. Мелькнула мысль: не изображают ли богомазы под видом святых мучеников на образах народ, недовольный царем, черный люд? Богомазы ведь тоже мужики! Свою мысль могут вложить...

– Кто ты?! – строго спросил царь.

– Чернец я, ученик святого мужа, а ты держишь его столько лет в заточении в Тверском Отроч-монастыре, – смело ответил узник. – Звать меня Гавриил.

– Ты ученик Филиппа?! – ласково, тихим голосом спросил царь.

– Не отрекаюсь от святого старца! Муж, сильный своею верою и правдой. Не он ли воздвиг крепость веры нерушимую на Студеном море? Среди вод ледовых, бездонных воссияло, яко солнце, его правдивое, доброе слово. И все обиженные тобою тянулись к нему, как трава из-под снега тянется к солнцу. И всем он давал мир и утешение.

– Но чего же ради ты пришел в Москву с берегов Студеного моря?

– Норовил увидеть тебя, чтоб сказать тебе правду в глаза. Хочу умереть я тою же смертью, что грозит митрополиту Филиппу, – в узах, в темнице.



Иван Васильевич усмехнулся:

– Умереть мог бы ты и на острове, сам обрядив себя в железа. Не за тем ты пришел в Москву! Будь правдив! Коли ты ученик святого мужа, поведай мне, своему государю, пошто ты пришел в Москву?

Усмехнулся и Гавриил:

– Привык ты к обманам, государь! Смешно! Никого так много не обманывают, как царей... – Старец засмеялся. – Редко ты слышишь правду, государь. А от своих ближайших слуг – никогда. Несчастный ты! Жаль мне тебя. Малому человеку не грех обмануть царя. Простительно. А тебе не след и дивиться тому. Дело обычное во дворцах.

Иван Васильевич нахмурился.

– Не все меня обманывают. Есть правдивые слуги, которые любят меня, и я их люблю. Их немало.

– Слушай, великий государь! Преподобный Максим Исповедник говорил: «Усматривающий в сердце своем хоть тень ненависти, недоверия или презрения к другим – чужд любви, любовь не терпит оного. Как одно воспоминание об огне не согревает тела, так вера без любви не производит света видения и озарения». И я тебе говорю: государь, если не желаешь отпасть от любви народной, не допусти брата своего уснуть в огорчении на тебя и сам не усни в огорчении от него. Ищи правду не во дворце своем, а в простолудстве. Чистая душа та, что свободна от страстей и непрестанно веселится доброю любовью к ближним. Во всех наших делах

Бог смотрит на намерения наши: ради чего они? Спасибо, государь, слушаешь меня с терпением, без гордыни! Бью челом! Желаю не зла тебе, но добра!

Царь с любопытством слушал, как простой человек осуждает его, жалеет... Будто он выше царя. Ему не хотелось перебивать странника. И прежде того царь собирал во дворце юродивых, чтобы послушать их. Ему казалось, что их устами говорит сам народ.

– Бог простит тебя, злосчастливого! – грустно сказал царь, дослушав речь поморца. – Меня все учат, как неразумное дите. И я слушаю, ищу правды... В твоих словах она есть, и хотел бы я знать: что говорят обо мне в народе?

– Ничего, батюшка государь, ничего... боятся. Я не страшусь, а они боятся тебя.

Немного помолчав, царь продолжал:

– Гавриил, молвил ты, якобы Господь следит – ради чего творим мы дела свои. Он видит: ради счастья государства нашего творю я их. Хотел я стать твердою ногою на западном Варяжском море, но, увы, – Бог не судил мне добиться того.

– Великий государь, знаю, ведаю про то – много крови пролил ты ради языческого моря, многие беды и напасти навлек на свой народ ради того же, но не есть ли у тебя славное Студеное море?! И крови проливать не надобно, и народу по душе то святое море! Ты забыл о нас. Не все иноки наши обрели на нем обетованную землю. Обрати лицо твое на север и увидишь там среди снегов и льдов истинный свет

Христов!

– Дело говоришь. Но, Гавриил, все же не поведал ты мне: зачем пришел в Москву? Путь твой был долог и опасен, стало быть, не попусту ты приобрел сюда.

– Коли требуешь, слушай, государь! Пришел я искать денег. Порешили обиженные тобою старцы и чернецы построить большой корабль, на котором и умыслили уйти с Соловецких островов в иные места, чтоб подальше быть от тебя, ибо не могут они тебе простить опалы на митрополита Филиппа. Осьмнадцать годов был он у нас игуменом и сделал удобной для обитания обитель: прорыл канавы, вычистил сенокосные луга, провел через леса, горы и болота дороги, устроил нам каменную водяную мельницу и для нее провел воду из пятидесяти двух дальних озер большого Соловецкого острова. Много добра сделал святой отец для нас!.. И за то постигла святителя твоя жестокая кара... По-Божьему ли это?!

Иван Васильевич терпеливо выслушал старца, а потом сказал:

– Будь моим слугою. Задумал я большое дело на том море. Дороги мне те, кому известны студеные воды, нужны они нам, и никакой опалы не падет на Соловецкую обитель – врут мои враги! Пуще прежнего я возвеличу обитель. Не верь злоречию! С твоих ног снимут железа, дам я тебе охранную грамоту, дам тебе жалованье и свой царский наказ, а ты будешь с моими людьми вершить государево дело. Готов ли?! Спа-

сибо за правду! Помогу я инокам! Помогу! Отвечай: согласен ли?

Недолго думал Гавриил.

— Буде то правда, что не ляжет опалы на наш святой монастырь и будто ты его поддержишь своею царскою доброю волею, — стану верным слугой твоим, государь... лягушка, и та хочет жить, а человек и того больше. Ради пользы монастырской братии, ради устремления очей твоих к нашему морю, приму на себя тяжкую неволю служения тебе. Дитя поймет, что не ради того, чтобы сидеть в кандалах, прибрел человек в Москву. И соловецкие иноки возрадуются, понеже не меч и разорение сулишь ты им, а великое полезное обители благо. Аминь! Не страшусь ни тюрьмы, ни казни и не жажду царских милостей. Одного добиваюсь: счастья людям своей обители, и коли смогу быть им полезен, то и слугой твоим быть готов, да и на плаху готов. Пойми же нас, государь!

Иван Васильевич позвал Поливанова, приказал ему снять с Гавриила кандалы, накормить его и поместить на жительство в Кремле, а затем привести его к присяге на верную службу царю.

Оставшись один, Иван Васильевич подошел к окну, веселый, довольный. Доброе дело освежило душу его.

Светало. Перекликались петухи. На площади были видны одинокие богомольцы, пробиравшиеся в Успенский собор к утрени. Кое-где сторожевые всадники дремали на конях, утомленные ночными объездами.

Царь пошел в свою опочивальню. Хотя всю ночь и не спал он, теперь, однако, чувствовал себя бодрым и сильным: можно привлечь на свою сторону и малых, черных людей, можно!.. Поменьше строптивости, побольше милосердия к людям! Так ему теперь казалось. Так ему хотелось думать о простых черных людях.

## IV

Никита Васильевич Годунов сидел под густолиственным древним кленом на скамье около дома и, насупившись, усердно чистил песком лезвие сабли, подаренной ему государем некогда, в годы ливонских походов. Никита влез в ту пору на стену крепости Витгенштейн вслед за изрубленным немцами в куски Малютой Скуратовым и сбросил со стены в ров Малютиных убийц. Государь пожаловал ему дорогую саблю в украшенных золотом ножнах.

Со двора было видно Москву-реку, пышные заливные луга на том берегу. Все это, освещенное розовым предзакатным небом, навевало на душу Никиты мирное, спокойное, семейное настроение.

Пора заняться и домом и огородами и почистить висевшее в бездействии оружие.

Правда, время далеко не мирное и много тревог и забот окружает служилого государева человека. Особенно его, Никиту Годунова. Государь поручил ему охрану Москвы от раз-

бойников, смутьянов и иных лихих людей. Но бывают же такие минуты у каждого государева слуги, когда он вдруг вырывается и умом и душою из плена хлопотливой служебной суеты и, словно человек, погружающий свое истомленное зноем тело в воду, уходит в тихую повседневность домашнего очага. И тогда его радует всякое, даже самое маленькое, ничтожное дело, которое он делает на пользу своей семьи. Вот и Никитина сабля могла бы висеть и дальше на стене, украшая ее богатыми ножнами, а почему-то понадобилось ее почистить, хотя ее никогда и не приходится на себе носить, но было приятно заниматься этим делом.

Супруга Никиты Годунова, Феоктиста Ивановна, высокая, стройная сорокалетняя женщина, суежилась в девичьем терему, прихорашивая дочь Анну.

Обе они были довольны тем, что Никита Васильевич дома.

В пышные косы дочери мать вплетала голубые шелковые ленты, напевая про себя. На столе лежал белоснежный, вышитый мелким жемчугом кокошник.

Феоктиста Ивановна выглядела много моложе своих лет. Матовый румянец, живой, подвижный взгляд темных глаз говорили о ее здоровье и об ее довольстве жизнью.

Анна, пятнадцатилетняя девица, сидела тихо, послушно нагибая голову, которой с такой ловкостью распоряжалась ее мать.

Анна – невеста, на выданье, сватаются к ней женихи, да

только Никита Годунов не склонен торопиться отдавать в чужие люди свое единственное, любимое дите.

Хорошо помнит Никита Годунов, какое испытание выпало на долю его жены Феокисты Ивановны в первом ее замужестве с Василием Грязным. И еще лучше то знает сама Феокиста. Много слез, много мук выпало на ее долю в те времена. Да и не только она, но и покойный отец ее и покойная матушка немало горя и унижений перенесли, когда в нарушение всех уставов, Божьих и государевых, пришлось ей, Феокисте, бежать от ненавистного мужа под родительский кров.

Об этом не раз рассказывала она своей дочери Анне. Та всегда слушала мать со слезами. Ведь она уже и сама теперь стала большая. Любит она и отца и мать, но появилось внутри какое-то иное чувство, которое толкает ее куда-то прочь от родительского дома. Грешно думать об этом, грешно и скучать в родительском гнезде, но... тяжело... ах как тяжело постоянно находиться взаперти! Хороши отцовские хоромы, есть в них уютные горенки с многоцветными оконцами, с позолоченными скамьями и расписными узорчатыми потолками, с высокими пуховыми постелями и шелковыми покрывалами, да все это с каждым годом в глазах Анны становится привычнее и удаленнее от ее жизни, от сокровенных ее беспокойных желаний, закравшихся как-то незаметно в душу.

Из дома выходить отец разрешает только в церковь да в сад, что вокруг хором, да и то под присмотром старой нянь-

ки или матери. Чужим людям на глаза показываться тоже не велено, да и смотреть ни на кого не положено.

Самое матушку, Феоктисту Ивановну, отец прячет от всех глаз в четырех стенах своих покоев. И ей, как и ее дочери, приходится убивать время только на шитье, вышивании, прядении и вязанье.

И матери и дочери от скуки доставляет удовольствие, сидя перед зеркалом, натирать свои лица белилами, а щеки и губы красить румянами. Тогда все-таки веселее бывает на душе. Но зачем? Для чего?!

Отец строг. Даже в церковь входить он разрешает им в особую дверь со стороны безлюдного погоста, а в церкви становиться на отгороженное для женщин место за решеткой на левой стороне церкви, укрытой от глаз мужчин.

И хотя Анна горячо любит отца, по никак не может примириться с этим затворничеством. Она ведь знает, что в простом народе девушки и женщины свободно ходят туда, куда им хочется, и часто слышит Анна их веселый смех и песни, что раздаются в роще за оградой отцовской усадьбы. Коровницы и те лучше, свободнее живут, чем она.

Диву дается Анна, глядя на свою мать. Та спокойно и с видом полного довольства соблюдает всю строгость обычая в доме и не тяготится своей теремной жизнью. Во всем она послушна своему супругу, и опускает покорно взгляд при его появлении, и краснеет, как девица, которая впервые видит своего суженого-ряженого. Она не смеет при нем громко го-



ворить и смеяться прежде, нежели не засмеется он сам.

Анна понимает, что грех осуждать родителей даже в мыслях, и она не раз со слезами просила Бога о прощении ей грешных мыслей, однако от этого ей не было легче – грешные мысли не покидали ее.

Сегодня с утра матушка проводит с ней время, поучает ее, как надо быть в доме порядливой хозяйкой и как богоугодно себя содержать в своем девстве.

Косы были заплетены. Феоктиста Ивановна вместе с дочерью вышла на красное крыльцо покормить ягодами маленького медвежонка, привязанного к старому развесистому дубу, украшавшему двор годуновской усадьбы. Медвежонок, увидев их, поднялся на задние лапы, часто моргая слезливыми глазами.

Но только они успели сойти с лестницы, как услышали топот многих коней, приближавшихся к усадьбе.

Они увидели Никиту Васильевича, побежавшего к воротам, а с ним двух привратников. Вскоре ворота были открыты, и во двор въехали несколько стремянных стрельцов, окружавших повозку Бориса Федоровича Годунова.

– Рад видеть тебя, племянничек! – низко поклонившись Борису Федоровичу, крикнул Никита Васильевич.

– Принимай, дядюшка, гостей! – вылезая из повозки, промолвил Борис Годунов.

Облобызались. Вслед за Борисом из повозки вышел незнакомый Никите молодой человек.

– Привез к тебе по государеву приказу юнца... Вот он: прозывается Игнатием, а по отчеству Никитичем Хвостовым. Люби и жалуй!

Никита Годунов от неожиданности опешил, оглянулся – увидел жену с дочерью и совсем растерялся.

– По государеву приказу?! – смущенно и с робостью в голосе переспросил он.

– Так угодно его светлости, батюшке Ивану Васильевичу. Громко и внушительно произнеся это, Борис Федорович улыбнулся.

– Да, как же... это... так?! – совершенно сбитый с толку развел руками Никита.

– Дядюшка, послушание паче молитвы и поста. Смирись! На лице Бориса исчезла улыбка. Лицо стало строгим. Никита тяжело вздохнул, недоуменно покачав головою.

– Да что же это ты гостей-то на дворе держишь? Так ли ты должен принимать царского боярина?!

Никита засуетился:

– Бог спасет! Прости, Борис Федорович, своего дядьку. Вот уж истинно – ум без догадки и гроша не стоит. Изволь, боярин, на красное крыльцо жаловать.

Борис Годунов осмотрел сопровождавших его всадников и сказал Никите, чтоб отвели их на дворню и угостили квасом да накормили бы их без обиды.

Никита приказал воротнику отвести стрельцов на усадебное подворье, затем повел Бориса Федоровича и Хвостова

к красному крыльцу. Там уже ни Феокисты Ивановны, ни Анны не было. Они стыдливо удалились в дом.

– Бог спасет, родной мой Борис Федорович, не ждал я и не гадал, чтобы его царской милости, Ивану Васильевичу, охота припала обо мне вспомнить... – говорил взволнованно по дороге во внутренние покои Никита Годунов. – Да и как понять волю государеву, чтоб мне молодца сего в жилыцы поместить?

– Воля государя не судима, – нахмурившись, ответил Борис Федорович. – Воля царя – воля Божья. К тому же ты гордиться должен, что государь изволил вспомнить о тебе. А ты, – произнес Годунов, обратившись к Хвостову, – Бога вечно повинен благодарить, что царь вырвал тебя из омута житейского бездорожья да в добрую, христианскую, верную государю семью вселяет. Считай моего дядюшку Никиту своим отцом и повинуйся ему во всем неукоснительно. Коли будешь учиться доброму, худое и на ум не пойдет. Скупно говори, жадно слушай. Много всего повидал дядя Никита, и не худо бы тебе его послушать. На святой Руси он честно послужил государю: двум господам не служил, не уподобился той птице, что свое гнездо марают, а посему и голову свою сохранил.

Войдя в столовую горницу, все трое помолились на образа святых угодников. Никита и Борис Годуновы еще раз облобызались, стали друг против друга, с поклоном сказав: «Дай Бог здоровья, спаси Христос!» Хвостов обернулся к Годуно-

вым и почтительно приветствовал поясным поклоном сначала Бориса Федоровича, затем Никиту Васильевича. После этого скромно отошел в сторону.

Никита Годунов отвел Бориса в соседнюю горницу и там тихо, дрожащим голосом сказал:

– Как же так? Ведь у меня дочь – девица на выданье... Непригоже ей будто бы с парнем-то встречаться под отцовской кровлей... Я ото всех ее хороню... Помилуй, батюшка боярин!.. Не обессудь!

Борис рассмеялся.

– Бедная память у тебя, дядюшка, убогая. Уж не такой же ты дряхлый, не такой старый, чтоб забывать... Не видать пока ни единого седого волоска в голове твоей, да и в бороде тож... Забыл ты, как ходил сам к сотнику стрелецкому да тайком любовался на его дочку Феокисту, на чужую в те поры жену, да как отбил ты ее грешным обычаем у Васьки Грязного. Помнишь, чай?! А что, кабы в те поры тебя не пускали в дом сотника – была бы твоею женою Феокиста Ивановна?! Стало быть, выходит, что в юности просишь, то в старости бросишь. Так, что ли?! Не дело – скопидомничать, Никита! Превыше всего – праведное выполнение указов царских. И не думай, Никита, что сие – блажь государева. Скажу прямо: по душе пришелся государю парень, и хочет он в нем слугу верного найти, а тому ты должен всемерно помочь. Да от колычевской колыбели надобно его подале отвести. Идем! Угощай нас! Полно чваниться!..

Никита в глубоком раздумье повел под руку Бориса Годунова в столовую горницу.

Зарево не сходит с небес.

У польско-литовских рубежей русские и белорусы жгут свои деревни, бегут в леса, собираются скопом, нападают на королевские отряды. По пятам преследуют чужеземцев, остервенело бьют их чем попало, как лютых врагов Московского царства.

На пустынных пепелищах воют голодные псы; копошатся около тлеющего мусора вороны.

Нечем тут поживиться немецким и угорским наемникам воинственного короля Стефана Батория.

В растерянности, тупо созерцают они обуглившиеся останки деревень, подозрительно озираясь по сторонам. Обманулись в своих надеждах! Проселками, на обратном пути в королевский стан, трудно им удержаться от глухого ропота; клянут польских вельмож: обещали поживу, а где она?!

В московском Кремле царь Иван со своими ближними боярами дни и ночи обсуждает меры борьбы с врагами.

Захвачено панами и Швецией в Лифляндии многое, за что двадцать четыре года боролся царь Иван; враги на этом не останавливаются. Прут дальше. Им мало, что в жестокой сечи пало множество русских воинов!.. Давай еще крови!

По-великопостному печально звучат колокола, зовущие в московские храмы богомольцев к поминовению павших. Ре-

ки слез пролиты под церковными сводами.

Иван Васильевич после беседы с боярами заперся в своем дворце, объявив себя в «осаде». Никого не допускал к себе, погрузился в тяжелые размышления.

Однажды он приказал позвать к себе Бориса Годунова.

Первые слова его были:

– Франк, наемник свейского короля Делагарда, без корысти, знатно послужил своему хозяину, а мои воеводы, русские, наши люди, не все так служат мне. Не измена ли тут?! Борис, разогнал я опричнину, не напрасно ли?

Годунов ответил, после минутного раздумья, спокойно, кротно:

– Не гневайся, государь! Силы неравные! Против нас полчища несметные. Наше славное войско притомилось в ратных делах... Воеводы не повинны в том злосчастьи. Судьбы Господа неисповедимы. Испытания, ниспосланные нам Господом Богом, быть может, и во благо нашим людям. Темная ночь сменяется ясным утром. Такая ж смена бывает и в жизни царств.

Иван Васильевич нахмурился.

– Но как быть царю?! Что скажешь о царе?!

– Премудрыми делами ты, государь, на все времена прославил имя свое, – ответил Годунов, повторив то, что почти каждый день приходилось говорить царю в ответ на его вопросы.

– Однако царь сгубил ради моря столь великое множество

народа – и не добился ничего.

И эти слова уже не впервые произносил царь.

– Неправда, батюшка Иван Васильевич!.. Не прошли те года нарвского плавания государству без пользы. Народы аглицкие, дацкие, гишпанские и все другие, латинской веры, побывали у нас, и многие товары неизвестные возили к нам, и наши товары прославили на весь мир. Поистине, великое дело ты совершил, государь! К тому же у тебя, государь, как о том ты говорил, есть Студеное море! К нему привычны мы с давних пор, и народы Запада глядят сюда издавна... Торговые люди, государь, не спешиваются, плавают и к Студеному морю из года в год с великою охотою.

И об этом разговор шел уже не раз.

Царь Иван поднялся; ласково улыбнувшись, покачал головою:

– Спасибо тебе, Борис! Ты с усердием доброго слуги утешаешь меня. Добро! Похвально. Мне это нужно. Сам Господь Бог вразумляет тебя говорить мне приветливые слова в моем несчастье...

Иван Васильевич обнял и облобызал Бориса.

– Вижу в тебе твердого мужа. Будь поближе к моим царевичам... Особливо – к Ивану. Внуши им, что не прихоти ради их отец бился за Варяжское море.

Вдруг, тихо понизив голос и приблизившись к самому уху царя, Годунов сказал:

– А со Стефаном Баторием, государь, – прости меня, –

пришло время заключить мир. О том, как то сделать, надо подумать особо. Велики обиды, государь, что нанес тот Стефан чести и вере нашей. Но Русь в долгу не обвыкла оставаться. Светил бы месяц и звезды, согревало бы нас красное солнышко, а русская сила расти будет. Она еще свое слово скажет. Вырастет вот какая!

Годунов широко раскинул руками. Молодое, мужественное лицо его покраснелось.

Иван Васильевич с удивлением остановил свой взгляд на Годунове:

– Мир?!

– Истина, государь.

– Говоришь, вырастет? – прошептал царь. – Вон ты какой!

– Вырастет! – твердо сказал Борис, обтирая пот на лбу, выступивший от волнения. – Вижу, государь, вижу славу нашу!

Иван Васильевич испуганно схватил его за руку, прошептал:

– Тише!.. Тише!.. Молодой ты! Горячий! Не услышал бы кто! Думаю, и впрямь помиримся пока со Стефаном... помиримся... Надо подумать – как? «Слава!» Чудно ты сказал! Кругом беда, а ты... «слава»! Борис, ты не сильный. И не храбрый, и не смелый, а властвовать можешь... Твои честные глаза обманут хоть кого. А меня не обманешь! Нет! Какая «слава»! Не сделал я того, что заповедано мне! Мой отец, дед осудят меня там, в вышнем мире. Однако спасибо тебе! Ты



веришь, ты ждешь славы, ты не склонил головы перед несчастьем. И не склоняй! Мне такой нужен! Царству нашему такие нужны. Мой царевич Иван не таков... И Федор не таков... В одном бушует страсть властолюбия и самовольства, а любви к труду не вижу, в другом – малоумие смешалось со страхом и тоской... Он все молится о счастье, а не добивается его. Не радуют они меня. Ох, не радуют! Не таков я!

– Государь, не мне судить о том. Твои дети – мои владыки; в них твоя царственная кровь. Это ставит их выше нас.

– Они выросли! И чем они старше, того более я их опасаюсь, Иван вкусил яд властолюбия. Он честолюбец, он избалован мною! И матерью! Моя юница, мой ангел-хранитель, покойная Анастасьюшка, любила его. Она пророчила ему счастливую жизнь, без страха, без тоски, без сомнений... Она просила тогда подарить ему шлем и доспех. Детский его шлем я берегу. Смотрю на шлем и вспоминаю Анастасию. Нередко и по ночам люблюсь им. Бедная моя, святая моя, царица Анастасия!.. Моя гордая, прекрасная жена! О, сколь много я согрешил перед тобой и ныне грешу! Окаянный я мытарь!

Закрыв глаза, Иван Васильевич опустил в кресло. Голова его устало поникла на груди. Едва слышно он прошептал:  
– Перемирие! Так ли это?!

Годунов отошел к окну, отвернулся, услышав шепот царя:  
«Да! Пусть будет так!»

За окном тихий отдаленный благовест. Наступали сумер-

ки. Кремлевский двор опустел. Вчера один мужик говорил на царевом дворе, что в деревнях хлебами довольны. Годунов вспомнил об этом. Такой незвратный, маленький, общипанный какой-то мужичонко, а говорит с таким достоинством об урожае. Урожай! Его с трепетом ждет вся Русь. Истомился народ от голода и мора. Обнищал от войны.

– Ты о чем при царе задумался, Борис?! – раздался тихий, прозвучавший подозрительно голос Ивана Васильевича, вдруг открывшего глаза.

– Думаю о хлебе... Народ ждет урожая...

– И я жду его...

Царь, как бы ухватившись за какую-то сокровенную мысль, воскликнул торжествующим голосом:

– Хлеб сильнее всех владык в мире. Чудно!

Посидев некоторое время молча, он усмехнулся:

– Мы по вся дни чего-то ждем... Вон мои бояре, почитай, два десятка с лишком ждали, когда я умру, а я все жив, пережил многих ожидальщиков. Я тоже ждал, всю жизнь ждал, когда же я буду править царством один... как хочу! А вот видишь... До сей поры жмут меня бояре. Они переживут еще многих царей. Боярская дума – сила! Разве ее переживешь?! Но то, чего я жду, будет, будет.

И опять шепотом, едва слышно, произнес:

– Боярской думе я вынужден пока поклониться... Вяземский, Басмановы, Грязные, Малюта!.. Царство небесное! Нет уж их! Да и помогли ли бы они царю теперь? Не то время.

Царь приподнялся и помолился на икону.

– Да. Нагрешила вдосталь моя опричная дружина. Бог с ней! Жаль Малюту. Недолго мне пришлось пожить с ним – добрым, храбрым рыцарем. Погиб он, изрубили его проклятые немцы. Такие люди на своем куту не умирают.

Годунов сказал с гордостью на лице и в голосе:

– Позорят его, сыроядцем величают, а того не возьмут в толк, что своею жизнью и смертью Григорий Лукьяныч пример любви к родине показал. Первый взошел на немецкую крепостную стену, бился до последней капли крови. Пал, как честный, бесстрашный воин. Его смерть охранила войско – и крепость была взята. Я слышал злоречие и хихикание даже и по сему случаю. Опричнины не стало, государь, но верных, преданных тебе людей не убавилось, а стало еще больше. Опричные люди не без пользы для царства жили... Малюта убит, но он вырвал с корнем измену...

– А ежели Божья воля явится убрать и меня?! – заговорил царь. – То-то шуму будет! И многие из моих ближних вельмож отрекутся от меня... И никаких благих дел моих не почтут добрым словом. И, как сказано у пророка Ездры: «Возгласят „аминь!“ и, поднявши руки кверху, припадут к земле и поклонятся Господу!» Будут благодарить его, что убрал неугодного им царя. Подойди!

Годунов приблизился к царю.

Царь притянул его за руку к себе:

– Наклонись! А царевич Иван как?! – прошептал он ему

на ухо. – Не замечал ли чего? Не шатается ли?!

Годунов ответил не сразу. Задумался.

– Ну, ну! – нетерпеливо дернул его за рукав царь. Щеки Бориса коснулось горячее дыхание царя.

– Нет, великий государь, ничего не замечал. Я – малый чин перед лицом государевой семьи. Мне ли судить?! И думать я боюсь о том. Молю тебя, великий государь, не спрашивай меня о детях своих.

– Полно! Не хитри! Ты что-то знаешь?! А?!

– Ничего, милостивый батюшка государь, не ведаю.

– А я слышал, будто и он против меня... И будто осуждает меня за неудачи в Литве. Так ли это?

– Не слыхал я того... Мню я – умышление то злых, неверных людей. У многих на языке мед, а под языком лед. Прости меня, великий государь, не пытай! – Годунов опустился на колени. – Мне ли судить о том?!

– Так вот я тебе скажу: молод еще царевич, слушает людей. Последи! Вон около него Щенятев Петька крутит, как пес, хвостом. Нашептывает ему. Опасный человек. Хотел я Петьку удалить от него – не дает, сердится. Пожалел я его. Да! Жалость моя не в пользу ему. Увы! Не пришлось мне обучать детей своих, как бы того хотел я. Император Феодосий Великий искал наставника для сыновей своих Аркадия и Гонория. Он желал найти человека ученого и благочестивого. Ему указали на Арсения. Император принял его с величайшим почетом. Он призвал сыновей и, передавая их

Арсению, сказал: «Будь им более отец, нежели я, – ибо важнее дать детям разум, нежели жизнь, – сделай их добродетельными и мудрыми, сохрани их от соблазнов юности, и Бог воздаст тебе за труды твои. Не смотри на то, что они – сыновья царя, требуй от них полной покорности!» Мои же монахи многое истолковали Ивану и Федору в ущерб правде и не на пользу нашему царству. Не учителями они были, а льстецами и ласкателями, покорными холопами царевых детей.

– Одно осмелюсь молвить тебе, батюшка государь. Твое доброе сердце во зло употребляют. Ты зело печешься о подданных своих, и то во грех иных вводит и в заблуждение. Многие ни во что сочли твое благорасположение, так и монахи те, и многие до плахи довели себя в те поры своего распутства. И позволю себе я сказать: вон Щелкаловы да и Никита Романыч. На высокие посты возведены, обласканы тобою, а с голландцев мзду якобы тянут непомерную и тем аглицкую страну от нас отталкивают, обижают нужных людей... Забыли, что несправедливо нажитая прибыль – огонь. В том огне сгорают государства важные дела.

Иван Васильевич вскочил с места, сердито стукнул посохом об пол:

- Что ты сказал? Щелкалов, Никитка?!
- Точно, государь.
- А ты почему знаешь? Борис, будь прям! Не хули!
- Писали о том сами аглицкие люди...
- А где то писание? И справедливо ли оно?! Зачем дер-

жат его в ящиках Посольского приказа?! Не все одинаковы и аглицкие люди... Не всем верить можно! Будь осторожен.

– Оно у меня.

– Читай, коли так. Читай! – снова раздраженно стукнул об пол посохом царь Иван.

– Данил Сильвестр, аглицкий человек, толмач твоей государственной службы, перевел то и целовал крест, что-де писание это есть подлинный перевод того письма аглицкого посла.

– Читай!.. – нетерпеливо крикнул царь Иван.

Борис начал медленно, с расстановкой читать:

– «Объявляю, что, когда я выехал из Москвы, Никита Романович и Андрей Щелкалов выдавали себя царями и потому так и назывались многими людьми, даже многими умнейшими и главнейшими советниками».

Иван Васильевич побледнел, затрясся.

– Буде! Обожди! – махнул он рукой. – Не хочу! Устал. Побереги бумагу... Убери!.. Давай опять говорить о Студеном. Самому бы туда мне... посмотреть бы... Да вот, вишь, хворь мешает... Тебя пошлю... Ты расскажешь, а теперь иди! Оставь меня одного. Дай бумагу! – Царь выхватил ее из рук Годунова. – Однако же помни: царь не отказался и от своих балтийских берегов... Они – извечная земля наша...

Борис поклонился и вышел.

Царь Иван вынул из ларца зеркало и принялся внимательно рассматривать свое лицо. Морщинистое. Желтое. Седина в усах, в бороде.

«Вот она пришла... старость! За моей спиной даже Щелкаловы воровским промыслом занялись!»

Он гневно покачал головою, стукнув ладонью о стол.

Не вовремя старость, не к делу хворь! Воры торжествуют. Слуги развращаются, теряют страх.

«Проклятые!» – Царь с отвращением плюнул.

Ливонские немцы назло московскому царю распахнули дверь Ливонии перед Польшей, Швецией и Данией, чтобы не покориться русскому царству: «Пускай-де Швеция и Дания захватят нашу землю, только бы не русские!» Четверо против Руси! Приходится уступить. Боярская измена принесла свои плоды. Согрешили бояре. На веки вечные запятнали себя. Тяжело бороться царю и с внешними врагами, и с внутренними. Тяжело!

«Пятьдесят лет!»

Царь с сердцем бросил на стол зеркало.

## V

Поутру выходит Анна из дома с красного крыльца кормить ягодами медвежонка. Она с детским восхищением следит за тем, как он день ото дня делается ростом больше и бедовее.

Но не только ради медвежонка теперь выходит она во двор. Она узнала, что из своего уединения, с вышки, на нее в это время тайком смотрит он, этот юноша, этот таинствен-

ный Игнатий, которого отец держит отдельно ото всех, не позволяя ему встречаться ни с матерью, Феоктистой Ивановной, ни с нею самой – Анной.

Отец и Хвостов верхом на конях ни свет ни заря уезжают куда-то, а возвращаются в полдень, к обеду, причем Игнатий тотчас же запирается в своей башенке-терему.

Однажды мать проговорила: отец ездит с парнем на потешные поля, чтобы приохотить его к воинскому делу и к искусству огневого боя под присмотром московских пушкарей.

Но как ни оберегали родители Анну от встречи с юношей, все же однажды они встретились и даже успели перекинуться несколькими словами.

Случилось так.

В субботний день возвращалась Анна с матерью в возке ото всенощной. В одном овражке возок их застрял; лошади не могли вывезти его из глубокой грязи, несмотря на все старание возницы, немилосердно хлеставшего их.

Тою же дорогой возвращался домой Игнатий Хвостов.

Быстро соскочил он со своего коня, привязал его к возку и помог вознице вытащить возок из овражка. Когда Игнатий отвязывал коня, девушка выглянула из возка и спросила, кто им помог выбраться на дорогу. Увидев Хвостова, она смутилась, но как-то невольно крикнула: «Спасибо тебе, добрый человек!» Он раздумянулся и, отвесив низкий поклон, произнес тихо-тихо: «Бог спасет, красавица!»



Только и всего. После этого у Анны появилось желание два раза в день ходить к медвежонку. Утром и в полдень. И каждый раз она чувствовала, что на нее смотрит этот красавец, этот сказочный гость, голос которого так очаровал ее. Недаром – она подслушала это однажды в разговоре отца с матерью – его полюбил и сам государь Иван Васильевич. Царь призывал его к себе уже не один раз.

Веселее стало Анне и приятнее смотреть на отцовский дом, на пожелтевшие березки вокруг их жилища, даже на усадебные ворота, в которые верхом въезжает он. А в медвежонке она уже стала видеть не лесного зверя, а своего доброго слугу, тайного сообщника.

Феоктиста Ивановна подметила в дочери перемену. Успешнее спорилось в ее девичьих руках и шитье, и вязанье, и всякое иное дело. Все выполняла она теперь с большою охотою, быстро и легко. И с родителями она стала ласковее. И в моленной дольше, чем обыкновенно, стояла на коленях и усерднее молилась.

Отец был молчалив. Посматривал озабоченно на оживленное, веселое лицо дочери, когда она сидела за прялкой или за вязаньем, а один раз даже произнес вслух, сокрушенно вздохнув:

– Трудно человеку побороть в себе дух сомнения. Прости ты, Господи! Испорчены мы, грешные!

– Господь милостив, простит... – стараясь успокоить мужа, поспешила отозваться на его слова Феоктиста Ивановна.

Шли беспечно дни за днями. И вот однажды государь вызвал Никиту Годунова во дворец и приказал ему немедленно снаряжаться в дорогу, сопровождать в Вологду обоз с корабельными снастями. В последнее время стали случаться нападения разбойников на государевы и торговые караваны. Многие крестьяне из разоренных войною и мором сел и деревень ушли в леса и примкнули к ворами. И велел царь написать грамоты к разбойникам, что коли они покинут татьбу и покаются, то государь их простит и на свою службу возьмет. Эти грамоты велел царь раздавать в деревнях по дороге в Вологду.

Никита Годунов, помолившись в Успенском соборе, взял с собою две сотни стрельцов и, провожаемый посадскими ротозеями, двинулся с обозом в путь.

Перед расставаньем с семьей он долго поучал жену и дочь, чтобы они хранили пуще глаза честь семьи. Ни одним словом он не намекнул на Игнатия Хвостова, но и матери и дочери было ясно, о чем идет речь. Благословил жену и дочь, прижал их по очереди к сердцу и помчался без оглядки к своему стрелецкому отряду на тот берег реки Москвы, в Стрелецкую слободу.

Поплакали Феоктиста Ивановна с дочерью, погоревали, а затем с молитвою снова занялись своею обычною работою.

После отъезда отца Анна стала еще чаще кормить медвежонка, в один раз и вовсе осмелела до того, что сама глянула на вышку и увидела его... Игнатия. Он ей делал руками ка-

кие-то знаки. Она ничего не поняла, и ей было очень досадно это. Любопытство ее еще сильнее разгорелось.

Феоктиста Ивановна зорко приглядывалась к своей дочке. Она, как мать, как женщина, втайне сочувствовала ей. Вспомнила свою молодость, свои страдания из-за любви к Никите Годунову, вспомнила о тех преградах, которые мешали ее счастью, и ей стало жаль дочь. Но чем помочь, что можно сделать, чтобы дочь была счастлива?

Старинная русская поговорка гласит, что любви, огня и кашля от людей не спрячешь. Анна, как ни старалась спрятать свои тайные думы о поселившемся в их доме незнакомце, все же не раз выдавала себя. Феоктисте Ивановне немного нужно было, чтобы понять, что дочь думает и страдает о государевом молодце, — «любовь, как говорится, в глазах видна». Да и молодец-то тоже стал беспокойнее и не раз, сидя у себя на вышке, песни заводил, чего прежде никогда не бывало, а пел он очень грустные песни. Мало того, стал часто спускаться во двор, кормить зерном голубей, которых Годунов в изобилии приручил к своему дому.

Феоктиста Ивановна с тревогой наблюдала все это, но поделать ничего не могла, не хватало смелости остановить парня, да и жаль было его и совестно. У нее у самой постепенно стало появляться какое-то нежное, теплое, материнское чувство к юноше, смешанное с жалостью. Самое ее смущали его голубые, опушенные черными ресницами, полные наивного любопытства и как будто молящие о чем-то глаза. А

может быть, только так казалось, что молящие?! Может быть – обычные, как и у всех людей?! Нет! Нет! Молящие.

Борис Федорович упрекал Никиту за суровость и нежелание поселить юношу в его доме. Это слышала сама Феоктиста. Она слышала, как Борис Федорович напомнил своему дядюшке, что сам он в молодых годах не был тихоней и у всех на глазах шел в дом стрелецкого сотника, отца Феоктисты. Стало быть, Борис Федорович не против того... Он добрее!

Много думала обо всем этом Феоктиста Ивановна, многое втайне она осудила в своем муже и особенно – его непомерную строгость к дочери и, наконец, мысленно всю душу стала на сторону Бориса Федоровича: нельзя-де обращать свой дом в темницу и держать дочь в нем наподобие узницы.

Она решила не мешать попытке молодых людей встретиться, усердно помолившись о том, чтобы никакого худа от сего не приключилось.

Сема Слепцов долго ли, скоро ли, но привел-таки ватагу беглых мужиков в стан Ивана Кольцо. Рубаху хоть отжимай. Намучился Семен, а главное, народ ворчать начал, удержу нет!

– Ну вот, – сказал Сема. – Пришли. Где лад, там клад и Божья благодать.

Мужики перекрестились на все четыре стороны.

– Глупый я, черный человек, не родовитый, а думаю: в согласном стаде и волк не страшен, – обтирая пот с лица, с тяжелым вздохом произнес Семен.

Иван Кольцо – рослый, задумчивый детина, с большим вихром на лбу, толстогубый, осмотрел с кислой улыбкой вновь пришедших:

– Голь убогая! Заморыши! Кобыла и та вас всех улягнет. Господи! Где такие родятся?!

Он поморщился, укоризненно покачал головой.

– Кто малым доволен, тому Бог больше даст! Вот как, атаман! А между прочим, подай каждому из нас палец, а мы и руку укусим. Народ зубаст, осерчал. Коли что – не сдержишь, – проговорил Слепцов, кивнув головою в сторону своих односельчан.

– Ты не смейся, Божий человек! – вступил в разговор дедушка Парамон. – Мир по слюнке плюнет, и море выйдет. Народ у нас дружный, охочий, всего натерпелся. Спаси, Господи, и помилуй, если в деле струхнет! Николи! – сказал, с важностью оглядев толпу своих товарищей, и добавил: – Гляди, как смотрят!

Раздались и другие голоса:

– Ты, мил человек, не думай, что криво зачесаны, мысля в нас справедливая... Правды ищем. Семка обещал нас к правде привести. Добьемся ее – где умом, где кольем, рано либо поздно, а добьемся... Тяжко жить в вотчинах. Конец терпению пришел!

– Добро, братцы! – сказал Иван Кольцо, повеселевший от прибауток вновь пришедших мужиков. – Ого! Ого! Видать, колючие! Гоже так-то! Пора, пора за дубинку взяться!

Он приказал своим есаулам выдать всем им оружие. Замелькали копья, шестоперы, кистени, сабли в руках слепцовских людей, рассевшихся на лужайке.

Место глухое; овраг глубокий, заросший можжевельником и папоротниками, окруженный дремучим бором, а со стороны реки Суры – прикрытый непреодолимым буреломом. На двух высоченных соснах ватажники устроили дозор: двое парней, словно птицы, прилепились к стволам, сидя на сучьях, только лапти сверкают.

Совсем рядом построенная великим князем московским крепость Васильсурск, но это Ивана Кольцо не страшит – чуваша, хорошо знающие местность, держат дозор вдоль реки Суры, и коли надвинется опасность от васильурского воеводы – чуваша тотчас же уведомят ватагу. Дружба у беглых мужиков с чувашами и черемисой крепкая, надежная.

В откосах оврага ватажники нарыли множество землянок. Устроили там свое жилище. Вырыли место и для укрытия коней. Громадный навес из поваленного березняка соорудили над конским табуном.

– Теперь нас много, и все заодно супротив бояр и купцов, да и царского добра пограбить, коли на то Бог благословит, мы не прочь, – сказал, собрав ватагу в кучу, Иван Кольцо, – и случай такой нам Господь посылает... В Вологду из Москвы

вышел богатый царев караван: там и деньги, и кошт, и одежда. Выходит: надобно нам догнать его, окружить, да и стяжать, Господь что пошлет. Стрельцов при нем двести душ, а нас вдвое больше, да и нападем мы из засады... Мужайтесь, други! Совершим то святое дело. Не так ли?

Загудели ребята. Началась веселая кутерьма.

Руки у всех зачесались. Не нашлось в ватаге ни одного человека, чтоб от такого верного дела отказаться. Накипело у каждого на душе. Правду народ сказывает: несладко жить в боярской да дворянской неволе. Да и засиделись на Суре-реке. Пора!

– Сделайся овцой – волки готовы! – так говаривали деревенские, сбросившие с себя иго барщины. Теперь каждый из них чувствовал себя способным бороться с этими волками, потому что шли сообща, дружной толпой.

Лица ватажников оживились, будто в праздничек. Несчастья бояться – и счастья не видать. Кое-кто в кустарниках молился Богу, обратившись лицом к небу, молился о благополучном походе на царев обоз.

– Кто к Богу, к тому и Бог, – говорили молеельщики. – Бог не в силе, а в правде. – И добавляли с улыбкой: – Бог-то Бог, да и сам не будь плох.

Правда?! Не за ней ли гоняется народ, убегая в леса. Правда – светлее солнца, дороже солнца. Правды нет в вотчинах боярских, на усадьбах дворянских, правды нет и в лабазах купецких. И недаром Иван Кольцо постоянно всем говорил:

– За правое дело стой смело! Нас зовут татью, разбойниками, а у нас о правде-то душа более царской да боярской болит. Моя совесть чиста, и ваша совесть должна быть чистой, как у святых угодников.

Рано утром поднялась ватага.

В рассвете прохладного утра четко топорщились вверху, на склонах оврага, сосновые и еловые лапы. По низинам туманило. Холодок забирался под одежду. В тишине слышалось бряцание оружием, ржанье коней, сердитое покрикивание на них ватажников.

– Путь держать будем на Волгу... – сказал Иван Кольцо, – к Ярославлю.

– Воля твоя, атаман!.. – радостно загорланили ватажники. – С тобой хоть за море!

Поп вышел из толпы, прочитал молитву.

С обнаженными головами выслушали его непонятные причитания ватажники, притихли...

– Господь простит рабов своих, коих на грех татьбы толкнуло своевластие и гордыня владык земных! – сказал он, убирая в сумку деревянный крест.

Поп-вассиановец – из заволжских старцев, усердно проклинавший на всех богомольях царя Ивана, благословил ватажников при выходе из оврага и сам верхом на тощей кобыле поплелся за ними.



## VI

Сквозь клены пробивались лучи солнца на лесенку, ведущую в светелку Игнатия.

Прислонившись к бревенчатому простенку, стояла Анна в своем нарядном розовом шелковом сарафане, зажимая глаза от солнца. Она как бы невзначай столкнулась здесь с ним, этим загадочным юношей. Он крепко прижал к сердцу ее руку, произнес тихо-тихо: «Господи, не осуди нас!» И вдруг близко подошел к ней и поцеловал.

Она хотела оттолкнуть его и не смогла. Не хватило ни сил, ни смелости, да и жаль стало парня.

– Что ты?! Что ты?! Грешно! – прошептала она, когда он хотел увлечь ее к себе, быстро увернулась и, не помня себя от страха, скрылась во внутренних покоях дома. Но долго еще не покидало ее приятное ощущение его теплых сильных рук, прикосновения горячих губ к щеке, его прерывистого дыхания. В своей горенке она стала на колени и помолилась, прося у Бога прощенья за то, что случилось с ней. Но горечи раскаяния, к великому своему удивлению, не чувствовала она. Нет! Напротив – внутри что-то говорило: «Так нужно! Так нужно!»

На другой день ее мучили стыд и страх, когда она вспоминала об этой встрече с Игнатием.

Вместе с тем было приятно думать, что о случившемся

никто не знает, кроме них двоих, что это ее тайна. Любопытство еще более возросло. Появилось нетерпение. Томило желание поскорее узнать: кто он, о чем думает, о чем может поведать ей? Она почувствовала, что ее опять тянет к нему, к новой встрече с ним, и хотелось, чтобы это произошло непременно скорее, скорее!

Эта новая встреча не заставила себя ждать, – вечером, в сумерках, столкнулись они во дворе около медвежонка, когда она кормила звереныша хлебом с медом.

Неожиданно из конюшни вышел Игнатий. Остановился как вкопанный около Анны. И она уже не испугалась, а вся расцвела от радости, даже вздохнула с облегчением, сказав: «Слава Богу!»

Он заговорил тихо и вкрадчиво:

– Касатка моя, ненаглядная! Как я скучаю по тебе! Господь один то ведает! Пусть свет небесный погаснет, коль не суждено мне видеться с тобой! Ни в чем нет мне отрады, одна ты...

А сказал-то как?! Просто, нежно, словно бы давно-давно дружил с ней, с Анной. Сердце замерло от счастья. Она не могла сойти с места. Он нежно обнял ее стан своей рукой:

– Светик мой, цветочек аленький, посети мою горенку, осчастливь меня, одинокого. А я поведаю тебе о своей жизни сиротской, расскажу все начисто, как на духу. Не с кем мне разделять свое горе и радости. Пожалей хоть ты меня.

Растроганная его словами, она торопливо последовала за

ним.

А когда очутилась в его горнице, ей сразу стало легко, весело, словно улетела она на крыльях из дома в какой-то другой мир, где нет отцовской строгости, нет греха...

Едва дыша от радостного волнения, она прошептала:

– Мне здесь хорошо!

Ее привело в дрожь никогда не испытанное ею сильное, горячее мужское объятие.

– Что ты со мной делаешь?! Милый... милый!.. Грешно!

Игнатий, тяжело дыша, выпустил ее из своих рук:

– Прости меня, неразумного! Не знаю... я ничего не знаю...

Придя в себя, он взволнованно начал рассказывать ей о себе.

Она услышала: он – круглый сирота, что отца его казнили или убили на войне – он этого сам не знает, а мать сослали в монастырь, после того как он родился. Ей сказали, что ребенок ее умер. Но он не умирал, был взят чужими людьми и детство свое провел в глухом лесу, в мужской обители, где один древний старец умудрил его грамоте, научил читать и древнее греческое писание святых отцов. А когда старец занедужил, то перед смертью приказал инокам монастыря отвезти его, Игнатия, к старушкам Колычевым в Москву – теткам и сестрам казненных бояр Колычевых. Почему его поместили к ним, он не знает, а старец тот оставил после себя много денег и отослал их тем же старушкам. Он был друг митрополита Филиппа, который тоже происходил из рода

Колычевых.

— Рос я среди монастырской братии, читал я там «Апостол» и Библию: о древних царствах, о войнах, о падении царских тронов; пел я стихиры и псалмы, и за то меня уважали в обители... Любил я на коне скакать в погоне за оленями по лесам и дубравам; любил я слушать пенье лесных птиц; научился я различать их голоса. Вместе с иноками я ходил на облавы медведей и диких вепрей, бился с ними один на один и много заколол я копьем диких зверей. А в святые праздники играл на гуслях и пел старинные былины о ратных делах русских витязей... Однажды зашел я в государев сад и пустил стрелу в коршуна. Царь приказал схватить меня и привести к себе во дворец. Он велел удалить меня от Колычевых и свести на вашу усадьбу. Борис Федорович часто берет меня в свои палаты, и там я читаю ему греческие книги.

Он говорит, что скоро царь меня возьмет к себе в дружину во дворец.

С глазами, полными слез, слушала Анна рассказ Игнатия. В терему ничего она не слыхала о том, как другие люди живут на белом свете. И вот теперь ей как-то страшно стало и очень жалко Игнатия,

Внизу раздался сильный шум, послышался громкий плач Феоктисты Ивановны.

Игнатий и Анна испуганно вскочили. Заглянули в окно.

На дворе стоял оседланный конь, а около него — стрелец, покрытый пылью, в изодранном кафтане.

Со всех сторон усадьбы сбежался народ. Бабы подняли вой.

Игнатий и Анна быстро сошли вниз.

Гонец рассказал народу о том, что за Ярославлем, по дороге к Вологде, на стрелецкий отряд, охранявший царский обоз, напали разбойники и многих стрельцов убили, а Никиту Годунова ранили. И находится он теперь в Ярославле, в монастыре, где его лечат знахари травами.

Стемнело. Из-за облаков выглянул месяц, осветив лицо рыдающей Анны.

Феоктиста Ивановна ушла в дом и там на коленях молилась о сохранении жизни мужу.

Игнатий принялся утешать Анну и, незаметно сам для себя, нарушил великий запрет – отвел Анну в ее светелку, куда ни один мужчина не должен был входить. А он мало того что вошел туда, но и стал, утешая, нежно ласкать девушку, целовать.

– Бились мы целый день, – рассказывал крестьянам стрелец, – да их сила велика, и напали они ночью, никто не ожидал того, и многие спали в шалашах. Ограбили они всю царскую казну, что дьяки везли при обозе. Дрались лесные бродяги зло, храбро, не боялись смерти. Немногим удалось спастись от них...

Мужики начали расспрашивать про разбойников, кто они, из каких, чьи.

Стрелец на эти вопросы не мог дать ответа. Мялся, огля-

дывался по сторонам, но так ничего и не сказал мужикам о тех людях.

– Чего ж ты?! – разочарованно вздохнул седенький старичок. – Э-эх, Господи, Господи! Не поймешь, что на белом свете творится!

В столовой избе царевича Ивана Ивановича большой пир. Боярские, княжеские и дьяческие сынки, забубенные головушки, изо всех сил пыжались друг перед другом показать свою хмельную удаль. Молодой парнишка, безусый, щеголевато одетый, сын князя Масальского – Гришка – вскочил верхом на дьяческого сына Петруху и заорал во все горло: «Айда к аглицкой королеве!» Царевич Иван подбежал к нему и надел ему чашу, тяжелую, серебряную, на голову: «Вот тебе и корона аглицкая». Гришка Масальский свалился на пол под общий хохот знатных юнцов. Чаша с громом покатилась под стол. Боярский сын Енгалычев Михайла, краснощекий, откормленный маменькин сынок, полез под стол, поднял чашу, наполнил ее доплна брагой и выпил ее на глазах у всех до дна.

Иван Иванович обнял двух парней, затянул непристойную песню. Ему с одушевлением стали подтягивать.

Когда кончилась песня, царевич Иван поднялся и громко сказал:

– Вот кабы мы с вами пошли под Псков, на Батория... не было бы того стыда, что видим ныне... Всех бы мы переби-

ли! Всех бы в полон взяли!.. Сенька Милославский у меня был бы первым воеводой... Ты, Гришка Масальский, вторым воеводой... Прости, Господи, меня, грешного, – осуждаю я государя... Все не по-моему идет... Так ли говорю я?!

– Истинно, государь Иван Иванович! Истинно! – закричали полупьяными голосами молодые княжата, боярские и дьяческие дети.

– А теперь выпьем за батюшку государя! – воскликнул Иван Иванович, наполнив свою большую золотую чарку.

Кто-то крикнул: «Девок! Девок!»

Иван Иванович вскочил, оглядел хмельными глазами всех и строго сказал:

– Не забегайте вперед! Государь я ваш или нет? Лобызайте мою руку!

Все бросились к руке царевича, по очереди прикладываясь к ней.

– Или забыли, что я Ваньке Медведеву голову срубил?!

– Помним, батюшка, Иван Иванович, помним, – залепетали юные гуляки в страхе.

– Всех я вас жалую, но всех я вас могу и на плаху свести... – Лицо Ивана Ивановича исказилось злобою, он с силою ударил по столу: – Стань все на колени! Я – ваш государь и владыка!

Вельможные сынки уже привыкли к капризам царевича и знали, что всякая эта строгость его сейчас же сменится безудержным весельем.

Но не успел царевич сменить гнев на милость, как дверь в горницу распахнулась и в столовую горницу вошел царь Иван Васильевич, сопровождаемый Годуновым и Бельским.

Царевич Иван стоял на кресле во весь рост, а вокруг него ничком по полу распластались юные княжата и боярские сынки.

Несколько минут царь Иван молча осматривал находившихся в горнице молодцов, а затем, обратившись к Годунову и Бельскому, сказал:

– Вот глядите на боярских ребят! Любуйтесь боярскими сынками, как я вот теперь люблюсь на своего Иванушку... Каковы же плоды получим мы из сего семени?! О князя и бояре! Плачьте, плачьте! Страшусь я судьбы детей своих и ваших. Несчастные! Они хотят победить скуку от сытости и беспечности умножением забав. Не успеют еще вступить в жизнь – и все уже для них истощено. В своей вельможной молодости они уже знают высокомерное отвращение к жизни, к людям, они уже не смотрят с любопытством вперед. Сие прилично лишь выжившим из ума старикам. Каких слуг ты себе готовишь, царевич Иван?! – громко крикнул царь, ткнув жезлом в сторону лежавших на полу юношей. – Куда ты и себя готовишь, несчастный?!

И, обратившись к Бельскому, Иван Васильевич сказал:

– Богдан, вели выпороть их всех бичом на глазах царевича Ивана.

Бельский приказал боярским, княжеским и дьяческим де-



тям встать. Покачиваясь, глупо улыбаясь, двинулись юнцы вслед за ним.

Царевич Иван хмуро, исподлобья следил за тем, как Бельский уводил его товарищей.

– Оставим царевича одного. Пускай подумает о том, как он будет править царством, коли его отец Богу душу отдаст.

Царь вышел из хором царевича.

Проходя через сад к себе во дворец, Иван Васильевич повел речь о том, что его не радуют дети нынешних бояр и князей, что его царским глазам хотелось бы видеть богомольных, трудолюбивых, любознательных юношей, скромных, украшенных добросердечием и мужеством. Он упомянул имя юноши Игнатия, которого хотелось бы ему поставить в пример боярским сынкам. Зело умен сей юноша, на удивление начитан в писаниях святых отцов, знает древний греческий и латинский языки, отважный всадник и меткий стрелок, а вместе с тем и скромный, послушный слуга государю. Он, царь, намерен приблизить его к себе и даже доверить ему большое дело. Но этот Игнатий – безродный, много видевший в своем сиротстве горя. Он не избалован, как дети бояр.

...Оставшись один, царевич облокотился головою на руки. Его охватило глубокое раздумье. В глазах его застыло ожесточение, лицо побагровело; рукою он сжимал серебряный кубок с такою силой, что смял его. С шумом поднялся он с кресла, осмотрел хмуро бражный стол, налил себе вина в

чашу и залпом выпил его, а чашу швырнул на пол.

В мрачном оцепенении он прошелся несколько раз взад и вперед по горнице и затем отправился в спальню своей супруги Елены Ивановны. Маленького роста, полная, с наивно-девичьим лицом, она радостно встретила царевича, приподнявшись с постели. Он взглянул на ее большой живот и грустно покачал головою.

– Что ты, мой соколик, так смотришь? Аль не рад, коли я тебе сыночка принесу?! – сказала она, вспыхнув от охватившего ее волнения при виде хмельного мужа.

– Нечему радоваться. Ноне царевы дети не в почете. А уж приплоду их и того хуже будет. Грех ходит вокруг нас.

– Ты чем-то обеспокоен, царевич мой?! – испуганно спросила она.

– Елена!.. Ты – дочь Шереметева. Не довольно ли с вас, Шереметевых, бед от царя было? Пора бы вам знать, что горе по пятам за всеми нами ходит.

Царевна взглянула на мужа с испугом.

– Али беда какая стряслась?!

– Беда у всех одна: потемнел разум у нашего царя. Стар становится он. Неразумен в своих поступках. Наша земля посрамлена иноземною силой. Отец мой ослаб, потерял веру в себя. Читал я у одного грека: не относись-де ко всем с недоверием, но будь со всеми осторожен и тверд. Мой отец потерял и осторожность и твердость, осталось одно недоверие ко всем...

– Бог с тобой, Иванушко, что ты говоришь?! Тише! Тебя могут услышать. Государь опалится на тебя!

– Не страшусь. Коли мне отец голову снесет, так тому и надо быть, но не стану я молчаливою овцой. Я – сын его, я – царевич! Мне после него сидеть на престоле. Должен я свою мысль иметь и своей волей жить!

– Ой, Иванушко, рано ты осмелел!.. Боюсь, боюсь, не ошибиться бы тебе.

– Не кручинься! Я не менее отца люблю Русь! За нее хоть на плаху.

Иван Иванович подошел к жене и нежно поцеловал ее в щеку:

– Хмельной я... Прости! С тоски пью. Не ладно воет отец. Бог ему судья.

Сел около постели жены. Вдохнул.

– Турки... Крымцы... Ногаи... Литва... Поляки... Угры...<sup>1</sup> Немцы... Шведы... Вот, матушка, сколько врагов у нас!.. Вот знатная работа царева Посольского приказа!.. – взволнованно проговорил царевич. – Запорошило глаза государю... Не видит он, куда идем!..

– Тише, родной мой!.. Могут услышать... боюсь! – прошептала Елена.

Царевич, ничего не сказав, склонился к жене, крепко обнял ее.

– Прости меня! Недосуг мне с тобой миловаться, распря

---

<sup>1</sup> Венгры.

с отцом гнетет меня, гложет тоска... От того и бражничаю... Прости! Не гневайся!

– Бог с тобой, государь мой! Могу ли я гневаться на тебя? Того и в мыслях у меня не было.

Она крепко прижалась к широкой, могучей груди царевича Ивана. Лицо ее было печальное, бледное.

– Боюсь я, Иванушко, боюсь. Сны мне снятся худые... Не приключилось бы чего с тобою?!

– Полно. Хуже того, что есть, уж и не придумаю. Разорили мы войною народ. Дворяне с посошным мужиком сравнялись. Бегут со своей земли, собираются, обнищали, кормиться им нечем... Воровским обычаем многие люди живут, на большие дороги уходят.

– Да что тебе, батюшка?! Бог с ними! Ложись. Приласкай меня. Соскучилась я!

– Глупая! В дни горести, слез, отчаянья и смерти могу ли я не думать о своем народе, о злосчастьи дворян?! Государь гоняется за суетными триумфами... Честолюбие одолело старика. Никакая слава человеческая не изгладит позора, причиненного безумством моего отца... Горе нам, горе! Смерти я у Бога прошу.

Царевич Иван схватился обеими руками за голову, в ужасе глядя на жену.

– Успокойся! – поднялась она в тревоге. – Пугаешь меня! Не надо! Какие у тебя страшные глаза.

– Нет! Нет! Не пугаю!.. «Возвышающий себя – унизится»

– так сказано в Писании... Бедный отец, государь!.. Все наши соседи-короли смеются над ним... Обожди, я пойду к Годунову. Он успокоит меня. Он – мудрый. Не люблю его, но он... тверд, бесстрашен... Обожди!.. И государь его любит.

Царевич быстро вышел из опочивальни жены.

## VII

Иван Васильевич велел огласить в Боярской думе извлеченную из сундуков копию донесения германскому императору Рудольфу его посла, некогда посетившего Россию, – Иоганна Кобентцль.

Немецкий посол расхваливал московский народ и царя, славил его могущество и даже намекал на замеченное будто бы им доброе расположение россиян к латинской церкви.

«Несправедливо считают их врагами нашей веры, – писал он. – Так могло быть прежде, ныне же россияне любят беседовать о Риме, желают его видеть, знают, что в нем страдали и лежат великие мученики христианства...»

Бояре и посольские дьяки с великим удивлением слушали громогласное чтение дьяком Леонтием Истомой-Шевригиным этого старого, шесть лет назад писанного немецким послом донесения.

«Чего ради понадобилась государю оная эпистолия? – думали они. – Мало ли всякого вздора пишут иноземцы о России!»

Чтение кончилось. Царь с загадочной улыбкой обвел глазами толпу недоумевающих бояр и дьяков.

– Слышали, что говорит о нас немчин?

– Слышали, батюшка государь, слышали! – ответили бояре.

– Писано то немчином три года спустя после злосчастной ночи, коя была у франков в канун Варфоломея... Россияне видели, сколь доблестно святой отец латынской церкви одержал победу над еретиками... Три десятка тысяч невинных душ загубили в едину ночь его попы и богомольцы!.. Святейший папа на радостях крестный ход учинил в Риме, из пушек палил, пляски срамные на площадях устроил... Не за то ли мы латынскую веру полюбили?!

Недоуменное молчание было ответом царю на его странную речь; бояре растерянно переглядывались: что такое с государем? Не помутился ли у него рассудок от военных неудач?!

Царь, видя смущение своих приближенных, рассмеялся, тем самым приведя их в еще большую растерянность.

– Осталось нам теперь денно и ночью молиться о здравии папы Григория... Да помогать ему войною противу турок... Обижают, бишь, турки венецийских купцов, не дают плавать с товарами... Немчин тот – посол Рудольфа – и тот утешил папу, писал императору, будто царь московский и противу турок пойдет... бить будет неверных во имя римского спокойствия, ради латынской веры... Не правда ли, зело добр

русский государь?! Где есть христианский владыка уветливее царя Ивана, более его почитающий святейшего папу?!

Бояре робко притихли; остолбенело, со страхом прислушивались к насмешливому голосу царя, звучавшему временами с каким-то непонятным мрачным торжеством, словно царь чему-то радуется, а чему – и сам не знает.

«Чему радоваться? Да и зачем ему понадобились эти разговоры о римском папе?!»

Вдруг...

– И вот решил ваш государь посла отправить в Рим к тому папе Григорию... Дружбу захотел свести государь со святейшим... Соскучился о нем – много наслышан о его премудрости. Писал тот немчин, будто хотим мы видеть Рим. Знать, тому и должно так случиться... Московским очам нелишне полюбоваться на тот древний город. Бывало то и при отце моем, Василии Ивановиче... Митя Мальт, то бишь Герасимов, ездил в Рим с грамотой к папе Клименту. То ж будет и у нас. А о прочем скажет вам дьяк Истома-Шевригин. Слушайте!

Высокого роста, красивый, широкоплечий, Шевригин к тому же обладал мощным голосом. Ведая в Посольском приказе делами австрийскими и фряжскими, он хорошо знал все о сношениях Москвы с папским престолом. И теперь он, обернувшись лицом к боярам, стал излагать им свои сведения о бывших в прежние времена попытках римских первосвященников завязать дружбу с Москвою.

– Много раз, – говорил он, – папы хотели послать своих послов в Москву, но польский король Сигизмунд всегда мешал этому. Венеция, богатый торговый город латынский, давно добивается счастья в торговле с Русью. В глухой древности, еще при князе Игоре, венецийские торговые люди вели торг с Киевской Русью, и новгородские гости также сходились с венецийскими гостями. Но с той поры торга того уже нет. Посланцы папы Пия – Канобио, Джиральди, Бонифачио – были перехвачены в дороге Сигизмундовыми приставами, когда проезжали через Польшу. Король запугал фряжских людей.

В этом месте речи Шевригина царь Иван, стукнув с силой посохом об пол, перебил его:

– Много зла учинил нам король Жигимонд! И по сию пору то мы чувствуем, хотя польские и литовские люди и не хотели враждовать с Москвой... Говори!

Шевригин, вобрав в себя всю грудью воздух, басисто продолжал:

– Нунций Лаурсо договорился с двумя русскими послами в Вене – с Сугорским и Арцыбашевым, чтоб ехать с ними в Москву. Папский холоп при дворе императора, кардинал Мароне тоже поддерживал Лаурсо, чтоб он ехал в Москву. Но и тут королевские власти вмешались и не пропустили папских людей в Москву.

Царь Иван прервал Шевригина:

– Буде! Наслушались. Не береди раны. Не смущай!



И, обратившись к боярам, сказал:

– Бояре, не довольно ли вам того, чтобы понять: как заботятся о нас римские папы? И не пришел ли конец быть нам в сем деле ротозеями? Часом опоздано – годом не вернешь. Нам надо дружбу свести с римским Григорием – папою. Бог с ним! Загубленные им души и все грехи его на нем и скажутся, а нам нужно, чтобы он ярость Степана Батория побавил, чтобы прыть его святым словом приостановил. Риму мы нужны, а кто из вас скажет, будто нам Рим в сие лихолетье не нужен? Кто?! Ну! Отвечайте!

Теперь только бояре и дьяки стали понемногу понимать, для чего государь поднял все старые дела о римских папах. И многие из них содрогнулись в душе от великого страха, подумав: уж не умыслил ли царь и в самом деле обратить народ русский в римско-католическую веру? Слух об этом давно когда-то уже ходил по Москве. Еще во времена княжения великого князя Василия, взявшего себе в жены красавицу Елену Глинскую, литвинку, униатку, болтали, что великий князь по своей слабости и любви к Елене вознамерился ввести на Руси унию. Не хочет ли ныне сотворить это его сынок, царь Иван Васильевич?! В нем ведь тоже польская кровь.

И, как бы угадав мысли сомневающихся, царь сказал:

– Не о вере мы будем вести беседу с папой, а о делах земных... Пускай, коли в нем есть христианская душа, он поможет христианам остановить кровопролитие... Пускай покажет нам духовную власть над своими латынянами, заставит

их прекратить неправды, обиды и насилия, чинимые Бато-  
рием.

Обратившись к дьяку Шевригину, царь Иван сказал:

– Леонтий! Будешь ты нашим послом в папском Риме. Зело ведомы тебе все хитрости папских иезуитов, а также и писания прежних пап и их друзей – посему держи наше слово твердо. Обсудите, Бельский и Годунов, с Шевригиным, каким путем ему в ту страну ехать – морем ли, сушею ли, где и как... И потом сказывайте мне: сколь и чего надобно.

Дворцовые люди в страхе: опять не в духе царь.

С утра до вечера молится он. Накрепко заперся в своих покоех.

Опять царевич Иван поспорил с отцом.

В кустарниках под окнами дворца царевича шмыгают тайные государевы люди: высматривают – кто теперь, после ссоры с государем, пойдет к царевичу во дворец. Подслушивают: какие речи между собою ведут царевичевы слуги.

Соборные звонницы время от времени нарушают сумрачную тишину кремлевских улиц и проулков нудным, тревожным звоном колоколов.

Царевы телохранители-стрельцы проболтались в столовой избе, будто царевич дерзко требует у царя войска, чтоб идти ему под Псков и сразиться со Стефаном-королем. И будто кричал он на всю цареву палату: «Душа-де не терпит моя той срамоты! Сам-де поведу я то войско и лучше слягу

в бою, паду от вражеского копья, нежели буду терпеть и далее Стефаново надругательство!» Государь будто бы, не дослушав царевича, посохом прогнал его от себя со словами: «Не твое то дело! Ступай, бражничай со своими похлебцами, питухами-княжатами!»

И будто бы говорили ближние к царю люди, что после ухода царевича царь плакал и на коленях Богу молился долго, а после спросил вина, а сам его не пил, не прикоснулся к чаше с вином.

И долго сидел в кресле, как бы в полудремоте.

Затем крикнул постельничьего. Велел позвать Бориса Федоровича Годунова и долго с ним наедине беседовал. А разговор тот шел о псковских делах.

В день раза три царевы гонцы бегали за Годуновым.

Вот и теперь: опять – во дворце он, Борис, одетый просто, печальный, молчаливый.

В этот раз царь, ухватившись своею большою рукою за рукав Годунова, отвел его в самую глухую комнату внутри дворца и, перекрестившись дрожащею рукою на икону, взял с Годунова клятву, чтобы он ни одним словом нигде не обмолвился о том, что поведает ему государь.

Борис, бледный, озадаченный, поклялся на коленях, что лучше умрет, нежели нарушит свое обещание, которое даст он царю.

– Добро. Поднимись! – хмуро приказал царь, усаживаясь в кресло. – Все изменники вот так же, преклонив коле-

ни, клялись мне в верности... Не гневайся на меня, Борис, невольно я так подумал. Вспомним покойного князя Володимира и его друзей бояр. Бедовое было время, нагрешили тогда мы все – и царь и бояре – премного; великие окаянства учинили.

Иван Васильевич сухо усмехнулся.

А затем сказал с невеселой улыбкой:

– Молод я был, правда, горяч, вижу то ныне и сам, но и силен я был, да и удачлив... Однако слушай! В те поры зело гневался я на колычевский род. Бог простит меня! Едва ли не весь тот неверный род извел я...

Годунов заметил, что царь и после клятвы, данной им, Борисом, все же колеблется, медлит говорить о том, о чем хотел сказать. И еще заметил Годунов, что у царя глаза опухшие, словно бы от слез.

– Так вот, друже, хочу я тебе открыть: не зря я того юношу, по отчеству Никитич, тебе сдал на попечение, не зря. Слушай! Один старец из Кирилло-Белоозерского монастыря наговорил мне такого, что я до сей поры опомниться не могу. Тот, бишь, парень, коего ты к дядьке своему отвел, есть чадо убитого Васьюкою Грязным боярина Никиты Колычева... Иноки хоронили дите колычевское от меня у себя до сей поры, именуя его Хвостовым, а мать сего парня ныне игуменьей будто в каком-то монастыре близ Устюжны. Заточена была в те поры. Парень того не знает, да и знать того ему не след. А подослали его ко мне в сад нарочно. Напомнили мне о былой

лютости моей. Как предстану аз пред Всевышним судьей?! Доброе дело вручает мне сам Господь совершить... Обманем их!.. «Загубили древо, – подумал я, – взрастим же в холе и тепле семя его». Да будет парень верным слугою царства нашего и покроет своей праведною службою все грехи отцов своих... Обласкайте его, берегите. Назло всем хочу сделать Колычева непохожим на Колычевых. Совесть моя того требует. Настало время думать мне о предбудущих днях... Добрых дел жажду!

– Твоя воля, государь!

– Что же ты этак исподлобья смотришь на меня?! Аль не по сердцу сия затея?!

– Взираю с благоговением на тебя, государь. Краше солнца царская добродетель.

– Борис!

– Слушаю!

– Устоит ли Псков?! Хватит ли силы?! А?! Как ты о том думаешь?! Угроза ему великая.

– Устоит, государь. Знаю я хорошо прямого, храброго Шуйского Ивана Петровича и князя Андрея Хворостинина, а Скопин-Шуйский – мой ближний друг... Силою и смелостью Бог не обидел и его.

– Точно бы и так. – Царь тихо сказал: – Иван царевич просит у меня войско к Пскову на выручку идти... Боюсь! Ни одного воина нельзя нам снимать с Москвы... Жду нападения новых врагов. Кто будет Москву оборонять?! Отказал

я царевичу. Что ты скажешь? Отвечай прямо, не бойся.

Годунов низко поклонился, тяжело вздохнул.

– Псков, думается мне, устоит. Обождать надо. Твое, государь, решение мудростью овеяно. Полки от Москвы оттянуть – стало быть, открыть дорогу татарам и другим кочевникам к царствующему граду Москве.

– Смотри, держи про себя, что поведал о царевиче... А того парня готовь к службе. Не худо бы и его с Шевригиным в Рим отослать...

Борис Годунов сказал:

– Пускай полюбуются – какие у нас красавцы есть.

Царь нахмурился, неистово шлепая ладонями по локотникам кресла.

– Вот когда я ломаю колычевскую спесь!.. Сломлю и поставлю на своем!.. Никакая казнь не утоляла моей жажды мести, как она добродетель! Пойми, Борис! Радуйся такой перемене! Никита был враг мой, а его сын будет моим добрым слугой!

Борис не знал, что говорить, широким размахом руки осенил себя крестным знаменiem:

– Дай, Господи, моему чадолюбивому государю здравствовать многие годы! Вижу чудесные перемены впереди! Все должно совершаться согласно твоей, государевой, воле.

– Полно тебе! Все ли? – возразил царь, покачав недоверчиво головою. – Ни на один час не забываю я о свейском Делагарде. Гляди, уже к Нарве он рвется! На нашу новго-

родскую землю зарится. Отослал я туда Шереметева и еще двух воевод на подмогу. Что-то будет?! Стефана так я не боюсь, как свейских воевод. Сильны они! Крымского хана не так страшусь. Не до нас ему. Турецкому султану помогает он против персов... Война там у них. Нехристи передрались. Нагой все разведаль, не зря его посылал я... Бусурманы меж собой в лютой злобе. С христианских королей пример взяли. Персидский шах с турками-собаками воюет, бьет их, а мне подарок прислал: зело нарядный трон. Шесть сотен алмазов на нем, да столько же рубинов, сапфиров, да смарагдов и бирюзы невесть сколько. А есть и в половину голубиногo яйца. Знатно порадовал меня шах Аббас! Мне его надобно тоже одарить... Силу нашу видит Аббас. Не так ли?!

– Драгоценные дары не приходят без значения... Шах почтил могущество твое, государь...

– Большая надежда, Борис, у меня на северные наши вотчины, на Поморье. Коли укрепим там свою морскую силу, так и свейской державе в те поры не поздоровится. Грозное место – те берега.

Годунов с восхищением в глазах воскликнул:

– На Студеном море – непобедимою станет Русь, государь! Постоянно и я о том думаю.

– Не будем же терять времени! Монахи нам помогут. Вон печенгский игумен Трифон с чернецами в Вардегуз плавал и торг вел рыбой, рыбьим жиром и иным добром. О том мне поведал бродяга – монах Гавриил, коего принял я на свою,

государеву, службу... Рассказал он мне, будто в Печенгу приплывают для торга дацкие, свейские и голландские люди. Не будем чинить им препоны. Пускай без зацепки строят свои дома, кладовые на торговых путях между Москвою и Студеным морем... Гавриил назвал те пути «Божьей дорогой к великому морю-окияну». Велел я Бельскому снарядить обоз на Усть-Двину-реку, чтоб новое пристанище там оснастить. Того чернеца Гавриила приручить надобно. К обозу я приставил его. Пускай советником у воеводы будет...

Борис Годунов сделал над собой усилие, чтобы спокойно выслушать упоминание имени Бельского. Щеки его все же покрылись румянцем, весь он слегка вздрогнул. Царь не заметил этого, продолжая развивать мысль о своем намерении как можно сильнее оснастить пристань в устье Двины:

– А за монахом тем, Гавриилом, я наказал присмотр иметь... Не простой он человек. Беседовал я с ним. Знатно начитан и тверд в своих мыслях!.. Такие – либо зело полезны, либо вредны, попусту не живут на свете. Вот и Вассиан был таким же, и Максим Грек. Их надо опасаться, но и уважать, а коли нужда явится – и казнить.

К сотнику и государеву литцу Андрею Чохову в его дом на Кучковом поле <sup>2</sup> явился гонец от Бориса Годунова, принес ему поклон Бориса Федоровича и наказ немедля явиться в приказ Большой казны.

---

<sup>2</sup> Лубянка.



Время было под вечер. Андрей Чохов, высокий, широкоплечий богатырь с мягким, добродушным взглядом синих глаз, быстро поднялся со скамьи, поклонился гонцу и сказал почтительно:

– Бог спасет батюшку Бориса Федоровича, спасибо ему на ласковом слове, рад исполнить его приказание.

Гонец быстро вышел за дверь, и вскоре послышался топот его коня.

Из соседней горенки вышли жена Андрея Охима и его сын, пятнадцатилетний мальчик Дмитрий.

– Вот, Охимушка, в Большую казну к Борису Федоровичу Годунову требуют. Собирай. Где кафтан да кушак? Давай. Надобно идти без заминки. Сама знаешь – время-то какое!

Охима, тоже дородная, красивая, полная женщина, рассмеялась:

– У тебя постоянно: «время-то какое!» Как сошлись мы с тобой, с той поры все ты уходишь от меня: то ты в походе, то на Пушечном дворе, то в разряде... Уж привыкла я.

– И то сказать – плохо жить и без работы, особливо ежели ты никому не нужен. Скушно! Борис Федорович попусту людей не тревожит. Сапоги давай новые... Борис Федорович любит, чтоб его слуги нарядны были, опрятны...

– Батюшка мой, Андрей Осипович, не забывай нас, поторопись!.. Приласкай сынка-то: сегодня, почитай, ты его совсем не видал...

Андрей подошел к сыну, поцеловал его наспех, переkre-

стился, надел шапку, поклонился жене и быстро вышел во двор.

Охима приласкала своего сына, рослого, худощавого мальчика, погладила его по курчавой голове.

– Ложись-ка, чадушко мое, спать... Поработали и мы с тобой сегодня на огороде; устал, поди, утомился? Отец теперь не скоро вернется, уж как водится.

– Не время бы, матушка, спать-то. На птичьем дворе дверь надобно уделать. Батюшка вчера еще наказывал мне.

– Ну, будь по-твоему, сходи на птичий двор да дверь там уделай, чтобы не прогневать отца.

Мальчик вышел в сени. Охима села за прялку кончать свою работу. Села и задумалась: чего ради Годунов позвал Андрея? Гляди, опять куда-нибудь усылать будут. Уж не к Пскову ли? Ходят в народе слухи, будто к тому древнему городу на помощь псковитянам пушкарей отправят с большим нарядом, будто король Стефан намерен обложить тот город со всех сторон и гонит к Пскову обильное войско и много пушек. И еще говорят, будто сам царевич Иван пойдет с войском на подмогу псковитянам.

В тяжелой тревоге замирало сердце Охимы. Казалось бы, уж пора привыкнуть к боевой, беспокойной жизни мужа-пушкаря, но никак не может примириться Охима с его постоянными уходами на войну и со своим неизбывным одиночеством во время разлуки с мужем.

Таков государь Иван Васильевич. Всех слуг своих гоняет

по разным местам. Не дает сидеть дома. Беспокойный царь.

Восемнадцать уже лет, как поженились, а жили вместе, почитай, лет пять, если собрать все деньки те вместе, да и того, пожалуй, не будет. То война с ливонскими немцами, то с Литвой, то плавал по морю, а чаще всего походы к Большому Полю для охраны рубежа от крымских татар.

И всегда и везде пушкари в первую голову.

Да когда и походов нет, кто больше всех работает? Опять они – пушкари! Андрей тайно поведал Охимае, что уже две тысячи пушек ныне стало у царя, а он велит ковать и лить все новые и новые. На Пушечном дворе работа идет днем и ночью. Царь никому покоя не дает.

Еще беда: повадился Андрей и сына таскать с собой на Пушечный двор, приучать и его к своему делу.

«Что за беспокойное время! – думает про себя Охима. – Все война и война, да казни, страхи разные!.. Андрей хвалит царя, молится за него, а за что?! Коли собрать всех великих князей прежних – они все вместе столько крови не пролили, сколько один он, прости Господи!»

Охима вспомнила, как царь жестоко казнил своего двоюродного брата князя Старицкого Владимира Андреевича с женою Евдокиєю, двумя сыновьями и матерью. Все они были отравлены, а мать утоплена в реке Шексне... Правда, говорили и другое. Никто этого не видел, но только одно известно всем, что князь, жена его, дети и мать казнены...

В новгородском походе был Андрей и своими глазами ви-

дел, как опричники грабили и убивали новгородских людей... Правда, царь потом отбирал у опричников награбленное, у немца-опричника Генриха Штадена все до нитки отобрал и кое-кого наказал, но все же это было... крови много пролито!

«Грех осуждать царя, – думает Охима, – а все же не по душе мне его лютость! О, горе, горе! Нет покоя Андрею! Когда же этому конец будет?! Народ ропщет. Народ голодает. Приходили мужики из деревни, жалуются: изнурились от работы на бар, живут в горькой нужде... В леса бегут люди из вотчин. Война не прекращается. Но царь никак угомониться не может».

Стало темнеть. Работа выпала из рук. Тоска! Страх перед будущим! В глазах у Охимы выступили слезы.

Из Ярославля прибрели усталые, пропыленные стрельцы во двор Никиты Годунова. Они принесли добрую весть о том, что Никита Васильевич поправляется и скоро вернется домой.

Феоктиста Ивановна прослезилась; накормила, напоила стрельцов, расспросила их про беду, которая случилась с ними, а затем приказала уложить их спать.

В то время когда мать беседовала со стрельцами, в башенке, где жил Игнатий, делилась радостною вестью с юношей красавица Анна. Оба обнялись и крепко друг к другу прижались, счастливые тем, что Никита Васильевич жив и вы-

здоровливает. Правда, в самую гущу радостных слов вдруг вплетались слова сомнения о том, как же дальше, когда вернется Никита Васильевич, как же тогда-то они будут встречаться. Но... тут же вдруг захотелось об этом забыть, не думать – ведь вот они вместе, ее щека прижимается к его горячей щеке, ведь они так счастливы сейчас, а там... что будет – прочь сомнения! В окно вливается ароматное тепло из сада; сгущаются летние сумерки; стрекочут кузнечики; поет о счастье, о любви предвечерняя тишина.

Но вот внизу слышались шаги матери, Анна вскочила, – наскоро поцеловала Игнатия и опрометью бросилась вниз по лестнице в свою светелку.

Наступил вечер. Феоктиста Ивановна вошла к Анне и позвала ее с собой в моленную, чтобы вознести благодарственную молитву Богу о благополучном исходе недуга Никиты Васильевича.

Но только что они кончили молиться, как во дворе появился верховой. Оказалось – гонец Бориса Федоровича. Феоктиста Ивановна, обеспокоенная, вышла на крыльцо, чтобы спросить гонца, зачем он приехал.

– Борис Федорович наказал мне, чтоб вместе со мною ехал к его милости Игнатий Хвостов.

– Что так поздно? – с удивлением спросила Феоктиста Ивановна, обеспокоенная тем, что в такой поздний час вызывают Игнатия. Она уже знала по опыту, что гонцы, посещающие служилые дома вечером, приносят с собою что-ни-

будь необычайное, срочное, нередко и худое, нарушающее мирное течение жизни семьи.

Гонец ответил, что он не знает, зачем вызывают к Годунову Игнатия Хвостова, но что ему приказали как можно скорее привести с собою того Игнатия Хвостова.

Юноша быстро собрался, сел на коня и в сопровождении годуновского гонца выехал из ворот усадьбы на дорогу. Оглянулся. Это видела из своей светелки Анна. Ей взгрустнулось. Феоктиста Ивановна не была удивлена, когда увидела невеселое лицо дочери, и, чтобы успокоить ее, сказала:

– Скоро батюшка, Никита Васильевич, будет с нами, – ласково погладила она по голове дочь.

Анна, слабо улыбнувшись, проговорила:

– Матушка, я рада, что батюшка приедет... – И вдруг дрожащим голосом на ухо матери сказала: – Но мне страшно! Боюсь чего-то... Сама не знаю...

И заплакала.

– Да Бог с тобой, Аннушка, дорогая доченька!.. Не сглазил ли тебя кто?! Порчи какой нет ли?! Ложись спать, помолись Богородице Скоропослушнице... Она услышит тебя... Помолись, чтоб злых духов от тебя отогнала... Не кручинься!.. Бог милостив!..

– Прости меня, матушка!.. Неразумная я, да и грешная... Мысли разные одолевают меня...

– Полно, дите мое!.. Полно. Бывало такое и со мной в твои годы... Стало быть, так уж Богу угодно, чтобы в юности страх

был о будущих днях... Не ведают юные девушки, что ожидает их, а ведать то им не дано, вот и плачут. Девичья доля – загадка. А плакать грешно. Вперед не забегай! Господь укажет каждому его путь... Каков он будет, – смирись с тем!

Анна с тоскою слушала причитания матери; ей уж давно наскучили эти слова, которые она постоянно слышит и от попа-духовника, и от отца, и от матери; всюду и везде ей внушают, что о «будущем на земле» думать грешно, надо постоянно заботиться о «будущем на небе», о том, что будет после кончины, и к этому нужно постоянно готовить себя... Матушка говорит «смирись!», а сама?! Разве она смирилась, когда ей выпало на долю быть женою Василия Грязного?! Ей, Анне, хочется жить, – душа не лежит печаловаться о загробной жизни!..

Пересилив себя, она кротко и ласково сказала:

– Слушаю, матушка, хорошо! Благослови меня и иди сама в свою опочивальню, а я лягу спать...

Феоктиста Ивановна перекрестила дочь и отправилась к себе на половину.

После ухода матери Анна уткнулась в подушки и дала полную волю своим слезам.

Борис Годунов ласково встретил Игнатия.

– Добрый вечер, молодец!

– Спаси Христос! – смиренно поклонился Годунову Игнатий.

– Ну, садись...

Годунов усадил юношу на скамью.

– По государеву делу мною ты позван...

Игнатий встал и снова поклонился Годунову.

– Слушай! Государю батюшке Ивану Васильевичу угодно послать своих людей во фряжский дальний город Рим к святейшему отцу латынской церкви... Ты изрядно знаешь тот латынский язык, и ты мне читал о римских папах и о Флорентийском соборе... Послов наших начальником будет Леонтий Истома-Шевригин. Ты дороден ростом и лицом леп и язык латынский знаешь, и не будет ущерба чести государя от того, коли ты поедешь провожать того Шевригина... Нам нужен мир с Польшей и Литвой... Царь не хочет воевать с единокровным славянским и христианским народом, нашим соседом. Папа римский, по мысли государя, должен остановить Батория, прекратить кровопролитие. Для сговора с папой государь и посылает в Рим Шевригина. Понял ли?!

– Добро, Борис Федорович, понял я. Но когда же, в кое время, из Москвы-то ехать нам?

– Через семь дней готово будет все, и вы тронетесь с государевой грамотой в путь. Вон ты какой! – с любопытством оглядывая с ног до головы Игнатия, сказал Годунов. – Молодец! Пускай за рубежом знают – какие люди у нас есть. Ну, что ж ты опустил глаза, ровно девица красная?! Что скажешь ты мне?

Зарумянившееся, смущенное лицо молчавшего Игнатия



рассмешило Годунова.

- Да ты и впрямь не девица ли?! Чего же ты молчишь?!
- Батюшке государю сие угодно – что могу сказать я?!
- Хочешь ли сам-то побывать в чужой земле?
- Кабы недельки две обождать? – робко произнес Игнатий.

Годунов удивленно вскинул бровями.

- Чего ждатель?! Зачем?!

Игнатий замялся, щеки его зарделись румянцем сильнее прежнего.

- Никиту бы Васильевича хотелось мне повидать... Скоро, бишь, он прибудет домой... Стрельцы пришли тут из Ярославля...

Борис Федорович, слегка усмехнувшись, спросил:

- А зачем тебе понадобилось видеть Никиту Васильевича?

Игнатий, совершенно растерявшись, сказал:

- Так... Хотелось бы повидаться. Привык я к нему.
- Приедешь из Рима и повидаешься, а мы тут Богу помолимся, благодарственный молебен отслужим Никите Мученику за то, что он сберег жизнь моему дядюшке... Государь наказал через семь дней выезжать Шевригину с товарищами. Так и будет. Государево слово нерушимо.

- Слушаю, батюшка Борис Федорович...

Низко поклонился Годунову Игнатий, а в мыслях у него было другое... «Ах, Анна! Если бы ты знала, как тяжело рас-

ставаться с Москвой!»

Борис Годунов достал из шкафа маленький образок и благословил им в дорогу Игнатия.

— Будь достойным слугой государя в чужих краях, — сказал он. — Истома тебя научит, как чин блюсти за рубежом, что говорить там... Истома — бывалый человек. Ну, с Богом!

## VIII

В одной из царских палат сошлась пестрая толпа простых людей разных возрастов и состояний. Их привел сюда с собой Борис Годунов.

В их числе находились Андрей Чохов и богатый новгородский колокольных и пушечных дел мастер, почтенный человек преклонного возраста Иван Афанасьев, прославивший себя знаменитым колоколом «Медведь», перевезенным по приказу царя из Новгорода в Москву, и зажиточный московский «художник» пушечного литья Богдан, и Семен Дубинин — московский же прославленный пушкарь, и Нестор Иванов — хитроумный псковский мастер на все руки. Его литья славился колокол «Татарин», висевший на колокольне Вознесенского монастыря в Кремле, было здесь много мастеров литейного дела и ковачей железных пушек, собранных из Замоскворечья.

В ожидании выхода царя Борис Федорович расставил всех так, чтобы каждый из них был на виду у государя.

– А станет спрашивать вас батюшка государь Иван Васильевич, отвечайте с глубоким поясным поклоном, без замешательства и не путано, дабы не затруднять его премудрую светлость излишним допросом, – поучал Годунов собравшихся.

Пушечного и колокольного дела мастера с прокопченными лицами, с почерневшими от огня и металла руками. Многие из них, одетые в поношенные кафтаны и грубую, вплоть до лаптей, обувь, робко сутулясь, становились на указанные Годуновым места и в страхе замирали.

Андрей Чохов, которому уже много раз приходилось бывать во дворце на приеме у царя, держался ровно, спокойно, поглядывал искоса на приезжих пушкарей. Особенно смешными показались ему своею угловатостью и нерасторопностью некоторые приезжие замосковные ковачи.

Встретил он тут и устюженских рудоискателей, с которыми свел дружбу во время наездов в Устюжну-Железнопольскую. Они привезли с собой в подарок царю тридцать выкованных в Устюжне пушек. Грубая выделка их не понравилась Андрею, и он заявил им об этом прямо, в глаза. Те смиренно выслушали слова Чохова, с улыбками смущения переглянулись и, как бы оправдываясь, сказали – мы-де копачи, рудоискатели, и к тому художеству, что видим в Москве, не навывкли. Меди у нас нет, и литье нам не под силу.

– Видит Бог, – с тяжелым вздохом шепнул один из них на ухо Чохову, – ковали мы те пушки с великим усердием, а

ныне, как осмотрели московский наряд, страх взял нас – как бы не прогневать своим подарком батюшку государя Ивана Васильевича, согрешили мы: имя царское на тех пушках чеканили без его дозволения.

Андрей успокоил их, сказав, что государь примет их дар приветливо. Не такое теперь время, чтобы не радоваться новым пушкам, каковы бы они ни были. Со всех сторон жмут Русь враги, и какие ни будь пушки, все одно они способны к убоистой пальбе по врагу. А это и есть главное в нынешние времена. Вон рассказывают: псковские сидельцы смолу готовят, бревна, кирпичи, чтобы сбрасывать на толпы воинов Стефанова королевского войска, коли оно подойдет к стенам Пскова. Будь у них эти тридцать устюженских пушек – веселее бы стало в те поры воевать псковичам и смолу бы и бревна, пожалуй, не понадобилось бы готовить.

После этих Андрейкиных слов совсем приободрились устюженские его приятели.

Но вот Борис Федорович, оставив с пушкарями двух дьяков с подьячими, удалился на царскую половину дворца. Старший дьяк, Михайла Вавилов, грузный, степенный человек средних лет, одетый в нарядный кафтан, сверкая перстнями на пальцах, поднял руку вверх, взмахнул ею и громко сказал:

– На колена! Государь жалует!

Засуетившись в страхе от этого выкрика, с глухим шумом опустилась на колени толпа пушкарей.

В необычайной тишине стояли пушкарки на коленях, обратившись лицом к дверям во внутренние покои дворца. Слышны были отдаленные благовесты в тишине и хриплые покрикивания царевых конюхов на лошадей под окнами во дворе. Напряженно, едва дыша, ожидали пушкарки выхода царя.

Двери медленно отворились. В палату вошли двое рынд, за ними несколько одетых в боевую кольчугу воевод, затем толпа бояр и, наконец, Борис Годунов. Когда все вошедшие стали полукругом позади царского трона, в дверях показался царь.

Он ступал медленно, мелким шагом, как-то размашисто, с громким стуком передвигая посох. В дверях остановился, хмуро и пристально вглядываясь в стоявшую перед ним на коленях толпу простолюдинов. Сам – высокий, слегка сутулый, сухой, с желтым морщинистым лицом. Большой, крючковатый, заостренный нос и жесткая молчаливость его стиснутых губ, вместе со всей мрачной осанкой его фигуры, привели в сильный испуг впервые видевших его прибывших из отдаленных уездов пушкарей. Тут же вспомнилось и все то жуткое, что рассказывали там, в глуши, о грозном царе.

Едва дыша от страха, оцепенелые, неподвижные, они опустили глаза, не выдержав пронизательного, испытующего царева взгляда.

Бояре и воеводы, ожидавшие царя у трона, тоже застыли, неподвижно ожидая восхождения царя на трон.

Царь вдруг быстро повернулся и крупным шагом, тяжело топая, поднялся по ступеням на трон.

По знаку, данному Борисом Годуновым, дьяк Вавилов прокричал имена и звания находившихся в палате мастеров пушечного и колокольного дела, а также и то, откуда прибыл тот или иной мастер.

Выслушав, царь опустился в кресло.

Борис Годунов, находившийся у подножия трона, сказал пушкарям, чтобы они поднялись, а когда они встали, обратился к ним со следующей речью:

– Православные люди, верные чада царства Русского! Государь ваш батюшка, Иван Васильевич, зело отечески заботясь о рабах своих и о земле нашей, милостиво собрал вас тут, в чертогах царских, чтобы сказать вам: зарубежные во-роги вконец преградили дорогу иноземным мастерам в наше царство. Ныне его царская милость надежду возлагает на вас, коим ведомо художество литейного и иных дел мастерства.

Ответом на речь Годунова было продолжительное молчание. Никто не решался говорить.

– Ну, что же вы молчите? – зарумянившись от волнения, недовольно поморщился Годунов.

Царь нетерпеливо заерзал в кресле, окидывая внимательным взглядом пушкарей.

Вперед выступил молодой, хорошо известный царю мастер Семен Дубинин – его литья пушки когда-то громили

шведов под Ревелем.

Маленького роста, курносый, обросший курчавыми волосами, он говорил быстро, слегка картавя:

– Видел я пушки венецийского мастера Павла Дебосис да немчина Якова – худо сделаны, и других видел немало в Ливонии. Незавидно. Да и воеводы наши знают, сколь удобны и легки наши пушки и убоисты. Одно бы, прошу прощенья у государя и у бояр, одно бы...

Дубинин запнулся. Царь Иван в нетерпенье топнул ногой.

Годунов озабоченно кивнул Дубинину: «Ну!»

– Одно бы теперь надобно нам... Колокольных мастеров у нас избыток. Доброй руды утекает на колокола великое множество, да и мастера дуже хитроумные на колокольном деле сидят, а нам в такое время пушек бы поболее. Как вот тут? Прощу прощенья за свое слово, я бы хотел...

Не успел он досказать своих слов, как вперед бурею выскочил широкий, с большим красным лицом, псковский колокольных дел мастер Тимофей Оскарев. Охрипшим голосом, размахивая рукой, он выкрикнул:

– Не слушай его, батюшка государь, – еретик он, супостат! Колокола – Божье дело! Пушки – сатанинское! Колокола в беде спасают, сзывают христиан к любому месту, колокола в Божий храм на молитву зовут, колокола твое царское имя славят...

Царь поднялся с трона, стукнул посохом об пол и гневно крикнул:

– Уймись, неразумный! Дед наш, блаженной памяти великий князь Иван Васильевич, и родитель наш, светлой памяти Василий Иванович, в ратной нужде не раз переливали колокола на пушки. Коли у нас не будет огневой силы отстоять святую церковь, к чему нам и колокола?! Покудова в силе войско государево, до той поры крепка и Божья церковь... Острый меч и огонь – защита веры Христовой... Колоколами врагов не побьешь. Что станет делать воевода Шуйский во Пскове, коли у него будут одни колокола? Пушка «Барс» погонит прочь от крепости Литву своим огнем, а не соборные колокола. Не сатанинское дело пушки, а вельми божие! Архангел Михаил, именуемый в писаниях архистратигом, не красы ради держит меч в руке... Он – архистратиг, небесный воевода, его меч – орудие непобедимое... Оно спасает веру. Твоя укоризна, бедняк, диаволу и прилукавым гонителям на радость... Отрекись, несчастный, от сего заблуждения!

С грохотом упал на колени грузный колокольный мастер Тимофей Оскарев.

– Отрекаюсь!.. Помилуй, великий государь! Не ведаю, что говорю... бью челом, прости меня, убогого!

Иван Васильевич снова сел в кресло и, обведя строгим взглядом всех присутствующих, кивнул головой дяку Вавилу.

– Царь всея Руси Иван Васильевич велел спросить вас, добрые люди, – воскликнул Вавилов, – хватит ли у вас силы и смекалки обойтись без помощи иноземных пушечного



дела мастеров, чтобы дать его государеву величеству многое множество убоистых орудий огневого боя?! Задуман государем большой поход, а куда, то узнаете после. Нужны для сего дела не токмо полевые, но и крепкие могутные, сидячие пушки крепостного боя. Что скажете, добрые молодцы, на то государево слово к вам?!

Несколько голосов сразу крикнуло: «Што нам заморские?! Сами мы положим все силы, чтоб то дело вершить своими руками!...»

– Сами! Сами! – понеслось из толпы разгоряченных словами Вавилова мастеров пушечного и колокольного дела.

– Не надо нам чужеземцев!.. Чужим добром не скопишь дом! – крикнул что было мочи Андрей Чохов.

Царь пристально посмотрел в его сторону и, увидев лицо его над головами других, велел Годунову подозвать его к трону.

– Старый ты пушкарь... Знаю, – сказал тихо, слегка наклонив голову к Андрею, царь Иван. – И послужил исправно воеводам нашим, о том мне ведомо, и за то не раз ты был обласкан нами. Ныне вновь послужи... Боярин Годунов укажет тебе, на какое дело послан будешь. Иди!

Чохов поклонился царю и стал на свое место, взволнованный, обрадованный вниманием государя. Другие пушкарники и колокольные мастера косились на него с завистью.

Вновь высунулся вперед Тимофей Оскарёв и, упав на колени, крикнул душераздирающим голосом, напугав товари-

щей:

– Батюшка государь! Прости! Хочу я быть пушечного дела мастером... Пошли меня на Пушечный двор!

– И меня! И меня! И меня! – раздались громкие выкрики в толпе колокольных мастеров.

Борис Годунов замахал на них обеими руками.

Дьяк Вавилов с остервенением зашикал, сверкая своими крупными белками.

Шум прекратился.

Царь с улыбкой шепнул Годунову:

– Кто ж теперь нам колокола лить будет?

– Остались, государь, серебряных дел мастер Иван Оспуговенский и другие. Их немало. Я созвал и их – позволь, батюшка Иван Васильевич, привести их.

Годунов послал дьяка Обухова, худого, гибкого молодого человека, с иконописным, безбородым лицом, за «художниками» серебряного дела, который вскоре и вернулся, ведя за собой толпу нарядно одетых мастеров.

Вот он – Остафьев Третьяк. Ему за искусную отделку икон золотом и серебром недавно дано государево жалованье: сукно в два рубля, тафта бургская в два рубля с гривною.

А вот рослый детина с громадными усищами и чубом на голове – Некрас Михайлов. Своими громадными руками он выткал жемчугом и драгоценными камнями немало царских одежд и церковных парчовых тканей. Он же знаменит деланием драгоценной посуды для царева стола.

За ним следовал сутулый, с опущенной, трясущейся головой толстяк Исидор Никитин. Он прославил свое имя искусной отделкой раки святому Сергию Радонежскому. Ему дано жалованье государево – сукно в два рубля.

Тут же, в толпе вошедших, находились два новгородских «художника», два знаменитых серебряных дел мастера – братья Петровы: Артемий и Родион. Оба не имели соперников в искусном тиснении серебряных и золотых окладов на образа. В 1556 году они были вызваны в Москву из Новгорода самим царем Иваном Васильевичем. Вот уже двадцать пять лет пользуются добрым расположением царя. Оба имеют подарки от самой покойной царицы Анастасии Романовны, для которой сделали ларец и золотые, украшенные бирюзой поручни.

Булгак и Иван Лисицыны, Лашук и Иван Лопухины, Никита Макаров, Богдан Максимов и другие, известные своей тонкой работой по серебру и золоту мастера, находившиеся в толпе, были не раз жалованы государем за свою удивлявшую иноземцев работу.

Когда все разместились в соседстве с пушечного и колокольного дела мастерами, дьяк Обухов обратился к ним с царским приветствием, на что они ответили смиренным поклоном и стали на колени. Он сказал им, что хотя они и хорошие мастера своего дела и что хотя заморские люди дивуются на их добрые изделия и государю батюшке Ивану Васильевичу от того приятность превеликая, – однако время та-

кое, что они, золотых дел мастера, должны оказать помощь государеву делу в войне с врагами Русского царства.

Колокольные мастера будут лить пушки для государевой надобности, а им, «художникам» серебряного и золотого чеканного и литейного мастерства, в случае нужды потребно приноровиться к мастерству колокольного литья.

– Время грозное, трудное для нашей святой матушки Руси, и всякое дело должно вершить с молитвою и верою на пользу государствию Московскому, – закончил свое слово к «художникам» серебряного и золотого дела дьяк Обухов.

Ответное слово держали: Левушка-псковитянин, незамеченный замочный, часовой и серебряных дел мастер, и Григорий Романов. Положив земной поклон, они сказали:

– Послужим тебе и родине нашей, батюшка государь, с честью, коли то твоей царской милости угодно, и во всяком ином деле, коли твои царские слуги то нам укажут... Так, стало быть, Господу Богу угодно, чтоб наши люди и свою лепту вложили в общее великое кровное дело.

Царь приказал им подняться с пола.

В палате стало душно от многолюдства и жарко. Пот градом лил с царедворцев и мастеров. Однако царь сидел неподвижно, с большим вниманием приглядываясь к пестрой, разношерстной толпе «черных» людей, с которыми ему почти не приходилось никогда так близко сходитьсь, а тем более обращаться к ним за помощью при подобном многолюдстве.

Все притихли, молчали.

Борис Годунов, бояре и дьяки неподвижно ожидали, когда поднимется царь, тем самым давая знак, что прием мастеров закончился.

Несколько минут в палате царила неловкая, напряженная тишина.

Но вдруг царь громко подозвал к себе Богдана Бельского и, указав на Тимофея Оскарева, тихо и строго сказал:

– Того крикуна допроси и плетью посеки... Пушки – не «сатанинское» дело, чтоб он то запомнил, а всех прочих в столовой избе угостите.

Еще тише стало в палате после этих слов царя.

Тимофей Оскарев затрясся в страхе, побледнел. Широко перекрестившись, обвел товарищей растерянным, слезливым взглядом.

Царь поднялся и медленно спустился по ступеням с тронного места, окруженный царедворцами.

Пушечного, колокольного, серебряного дела мастера стали на колени, провожая царя робкими поклонами.

Когда он удалился во внутренние покои, Тимофей Оскарев остался в одиночестве – мастера от него шарахнулись в стороны.

К Андрею Чохову подошел дьяк Вавилов и сказал, что Борис Федорович Годунов опять примет его завтра в приказе Большой казны. Государь велел послать его, Андрея Чохова, к Студеному морю.

## IX

Дремучий лес. Места болотистые. Туман, сыро. Проселочная дорога, едва-едва доступная даже для всадника, но пробирается по ней не всадник, а целый караван; тут и повозки, и верховые, и просто неоседланные кони, гуськом следующие за повозками. Люди в караване соблюдают строжайшую тишину. Нарушается она только скрипом колес и фырканием лошадей. Разговор у всадников вполголоса. О чем он? Главное, как бы незаметнее и безопаснее пробраться к Пернову.

Государь дал наказ отборным кремлевским всадникам бегать пуще глаза посольских людей, отъезжающих в далекую заморскую страну, в папский город Рим. Важно доставить в целости и невредимости посольский караван до берегов Варяжского моря, где стоит город Пернов; пускай сядут на корабли да поплывут, тогда и от сердца отлегло, и на душе станет легче. «В те поры, – подмигивают друг другу всадники, – уж не наш ответ».

В головной повозке Леонтий Истома-Шевригин, а с ним рядом толмач Вильгельм Поплер; в следующей – Игнатий Хвостов и другой толмач Франческо Паллавичино, в третьей – два подьячих: Васильев Антон и Голубев Сергей.

Шевригин оглядывается слегка прищуренными глазами по сторонам подозрительно, настороженно. Да и как же не

быть настороже?! Ведь совсем невдалеке шведское войско. И по лесам немало бродит шаек ландскнехтов короля Иоанна. Хитрое дело – пробраться к морю через леса и поля Лифляндские, едва ли не полностью захваченные шведами и панами. В проводниках – пожилой латыш, лесной житель, охотник, некогда находившийся на службе у московских воевод, воевавших ливонскую землю. Он едет впереди каравана, сутулясь на маленькой косматой лошаденке, едет уверенно, хмурый, сосредоточенный.

Его взял с собой в дорогу сам Шевригин, уже не раз ездивший по Лифляндии.

На спине и на груди в своем кафтане Шевригин зашил под подкладку царские грамоты к императору аламанскому и папе римскому. Никто не должен знать, кроме него да его помощников: Игнатия Хвостова и подьячих, зачем едет он, царский посол, в Рим. На огне будут пытаться – никто из них не выдаст государевой тайны. Случится опасность по дороге, на море – лучше он, Шевригин, в воду бросится и утонет в морской пучине, нежели отдастся в руки врагу, а на суше – лучше сожжет свой кафтан и сам сгорит, но опять-таки живой не отдастся в руки врага. В том он принес нерушимую клятву царю. За рубежом болтают, будто московский царь – деспот, тиран и что нет у него добрых слуг, что он насильно держит на Руси своих служилых людей, – не то давно бы все утекли за рубеж.

Если бы ненадежные были русские воеводы и насильно их

держал бы при себе царь, стояли бы они тогда так крепко за Русь?! Плохо знают русских людей заморские мудрецы, плохо знают и дела московские. Он, Шевригин, горд тем, что он – посол московского царя. Если бы его спросили: кто мудрее, кто добрее, кто Богу угоднее, кто величественнее в своем сане: царь Иван Васильевич или святейший глава Римской церкви папа Григорий Тринадцатый – он бы тотчас же ответил: «Наш батюшка Иван Васильевич премного выше всех пап и королей на свете!»

Никакой робости от того, что он едет в дальние края и что ему придется встречаться с римским <sup>3</sup> императором в Праге и римским папой в Риме, Шевригин не испытывает. Наоборот, ему кажется, что его везде должны встречать с почетом и трепетом, ибо он – посол московского царя. А в Италии ему к тому же бывать уже и не впервые.

Сидевший рядом с ним толмач Вильгельм Поплер, выведенный из терпения молчаливостью Шевригина, спросил его:

– Вам спать захотелось, герр Шевригин?

Только тогда посол вспомнил, что рядом с ним сидит немец-толмач.

– Нет. У нас по-русски говорится: много спать – добра не видать. Вот что, Вильгельм! Я думаю, ты тоже не будешь много спать... Наш государь сам мало спит и слугам своим не позволяет много спать, а ты ныне тоже государев слуга. Я

---

<sup>3</sup> Так назывался в те времена германский (аламанский) император.



надеюсь, что ты, с Божьей помощью, послужишь нам честно. Не так ли?

Немец не ожидал, что у Шевригина вдруг молчаливость сменится таким наставительным разговором. Он тяжело вздохнул.

– Божья помощь во всяком деле нужна, – уклончиво ответил он.

– И в особенности в добром, успешном выполнении службы русскому государю, которому ты ныне служишь. Ты – немчин. Не наш! Однако поклялся служить нам верою, так и служи. Иначе Бог накажет.

– Старинная немецкая поговорка гласит: «Надо веять, пока ветер дует». Вот и я: понадобился я вашему государю, одарил он меня и еще одарит. Буду услужлив сверх меры, так надо.

– Добро!

Шевригин, лукаво улыбнувшись, с силою похлопал немца по коленке.

В следующем возке изнывал от тоски по Анне Годуновой красавец Игнатий. Никогда ему в голову не приходило, что можно так страдать из-за девицы. Суровая монастырская быль, окружавшая его в детстве и юных годах, наставления старцев, погруженность в чтение писаний древних летописцев – все это вселило в него робость и недоверие к жизни, происходившей за монастырскими стенами.

Теперь он не узнавал себя.

Когда он покидал гостеприимный дом Годунова Никиты, то сам хозяин дома, оправившийся от болезни, его супруга Феоктиста Ивановна и дочь их Анна провожали его до ворот усадьбы со слезами. Никита и Феоктиста благословили его, как сына, а красавица Анна тайком подарила ему маленький образок Богоматери в серебряной оправе. Теперь этот образок, надетый на цепочке, он крепко прижимал к груди.

Никита Годунов сказал на прощанье:

– Господь с тобой! Не посрами земли Русской!

Облобызались на прощанье.

Навсегда запечатлелось в памяти Игнатия, как во время их прощанья тихо падали с кленов сбиваемые ветром пожелтевшие листья. Медвежонок и тот глядел на Игнатия из своей конуры какими-то печальными глазами. Так казалось теперь Игнатию. Вспомнилось, как он, Игнатий, и Анна кормили его в тихие солнечные утра, в дни отсутствия Никиты Годунова, и как медвежонок довольно облизывался, а маленькие глазки его хитро поблескивали.

С грустью мысленно прощался теперь Игнатий с мелькавшими по сторонам елями, соснами, с пожелтевшими березками, с родной землей.

Сидевший рядом с ним толмач Франческо Паллавичино, худой, с острой бородкой итальянец, все время вздыхал. Уроженец Венеции, он опасался, как бы его не схватили в Риме и не отправили в Венецию.

– Я боюсь своей родины... – покачивая задумчиво голо-

вой, говорил он. – Страшно!

– Зачем ее бояться? – спросил Игнатий.

Франческо рассказал: сто лет назад управлявший Венецией Совет Десяти передал управление над страной трем государственным инквизиторам. Им предоставлена безграничная власть над всеми без исключения подданными республики: над дворянами и священниками, над народом и даже над самими членами Совета.

Они могут тайно или явно предать смерти каждого; они схватывают на улицах кого захотят и пытаются, мучают в глубоких подвалах темниц. Если кто-нибудь пропадает и можно догадаться, что его схватили инквизиторы, то его родные, боясь страшного судилища, не решаются даже спрашивать, куда девался их близкий.

Игнатий удивился внезапно побледневшему лицу Франческо. Он спросил толмача: что с ним?

– Синьор Луиджи донес на меня... Меня объявили еретиком... бежал я из Венеции... Именем Христа меня повесят, если поймают, или обезглавят...

– Тебе дали государеву охранную грамоту. Ты состоишь в толмачах у государя. Никто тебя не тронет. Ты – при царских послых, – успокоил его Игнатий.

Франческо усмешливо вздернул бровями и недоверчиво покачал головою:

– О, вы не знаете!... Русский человек не знает, что есть инквизиция... Храни вас Бог от святых отцов инквизиции! Они

никого не признают, даже самого Бога. В Риме вы услышите страшные рассказы про инквизиторов. Московскому человеку придется много раз удивляться, какое великое множество насилий, пороков и бесстыдства исходит от святейших пап! И нынешний папа не безгрешен. Он – достойный преемник папы Пия Пятого. Папа Пий писал нашим венецианским инквизиторам: «Поместите над вашим трибуналом в Венеции железные распятия с надписью: „Место сие страшно, это врата ада или неба“. Помните, что наш Божественный учитель сказал: „Любящий отца своего и мать свою, сына своего или дочь свою больше меня не может быть моим учеником. Человек должен сделаться врагом домашних своих, ибо я пришел отделить супруга от супруги, сына от отца, дочь от матери. Не мир я пришел принести в мир, но меч! Сражайтесь же за меня, без страха и устали!“ Так писал папа Пий Пятый!

Итальянец замолчал. От волнения он еле переводил дыхание. Бледное лицо его покрылось красными пятнами. Он про себя шептал молитву.

– Не я еретик, а они!.. Слушайте! Еще Пий писал венецианским инквизиторам: «Пытайте без жалости, терзайте без пощады, убивайте, сжигайте, истребляйте вашего отца, вашу мать, ваших братьев и сестер, если окажется, что они не преданы слепо католической апостольской римской церкви». Я говорил своим друзьям, что великий грех следовать сему указу. С тех пор я должен был скрываться, прятаться от

папских сыщиков и от слуг инквизиторов. И вот я убежал в Москву... Там я прожил много лет, стал слугой государя, а на родине меня называют изменником... Но у меня уже нет той юности, той беспечности, которая была в те времена. Я надеюсь – меня никто не узнает. Я свое имя переменил... У меня уже нет в Венеции ни друзей, ни родных... Всех их замучили инквизиторы! У меня нет родины. Я – скиталец, странник, бездомный человек.

Франческо замолчал.

Игнатий спросил:

– А в Москве как ты живешь?

– Москва сердцу моему ныне ближе Рима, Вены, Праги, где я также бывал. Я полюбил русских людей.

Немного помолчав, Франческо сказал:

– Папа Григорий Тринадцатый не лучше Пия... Это известно всему миру... Он натравил католиков на гугенотов в Париже... Он радовался страшным убийствам. Этого не скроешь. Слишком много крови пролито папою.

Игнатию наскучило слушать унылую речь итальянца. Он снова задумался об Анне. Сразу стало на душе светло, прочь отошли мрачные, тяжелые думы, навеянные рассказами Франческо об инквизиторах и римских папах.

Ему казалось, что он слышит нежное дыхание Анны, чувствует, как бьется ее сердечко... Она представляется ему загадочной сокровищницей радостных, неземных усад, о которых думать только – уже счастье. Все человеческое в ней

казалось теперь ему сказкой, райским видением, в сладостных лучах которого жизнь сильнее смерти...

Подьячие Васильев и Голубев втихомолку опустошали баклажку с хмельным, поэтому были серьезны, сосредоточены.

– Вот уж истинно: грехи сладки, а люди падки, – обняв за шею Голубева, по секрету произнес подьячий Васильев.

– А отчего?! – лениво отозвался Голубев, вполоборота оглянувшись на него. – Скажи: отчего? Ну!

– Не знаю... – растрепав губы, небрежно ответил тот.

– А вот отчего: грех, батенька, дает много утех! – Голубев сочно захихикал, содрокаясь от смеха всем своим жирным туловищем.

– Запрещены нам утехы-то, Сережа, запрещены! – сокрушенно покачал головою Васильев.

– Верно сказал дьяк Писемский однажды Борису Годунову: «Строгий закон виноватых творит». Правильно. Грех вокруг нас так и ходит. Хвостом виляет.

– Молчи, Митрич, не пугай!.. Боязлив я... с тобой будем мы ровно ягнята... Добрые, послушные, приветливые... Люблю я таких! Под таких сам дьявол не подкопается. Попробуй-ка какой-нибудь король либо папа римский меня рассердить. Ни за што!

– Меня тоже. У нас с тобой сердце на привязи, не даем мы ему воли... А коли неудача, то наше дело: что же делать! А ваше: как же быть! Три месяца просидели мы у дацкого

короля, так и не удалось ему нас осилить. Видим – делу конец, король упирается, а сам жалеет, что не сговорились. Мы ему: «Что же делать!», а он: «Как же быть!»

Оба подьячих громко расхохотались.

– У государя батюшки терпенью научишься!.. – сказал Васильев.

– Во всех царствах не найдешь посольских людей терпеливее наших. А почему?! Сережа, молви слово: почему?! Не знаешь?! А оттого, что у нас мысль: «Не поймал карася, поймаешь щуку». Много раз бывало так-то у наших послов. Што нам иноземные мудрецы... Пускай мудрят, а мы знаем – и за морем горох не под печью сеют! Антоша, друг, дай обниму тебя, не задумывайся!

– О государе я. Ладно ли, што мы к папе тому едем? Не зазорно ли нашему батюшке государю первому к нему послов посылать?! – Васильев ударил кулаком себя в грудь. – Люблю свою землю! Обидно, коли тот папа сочтет нас ниже себя! Плюну ему в харю тогда!

– Уймись! Мужичок неказист, да в плечах харчист! Што папа?! Все на Божьем свете просто. Наш Истома-Шевригин слово знает. Увидишь! Чванства много в Риме; насмотрелся я, а ведь чванство не ум, а недоумье. Берегись и ты, Антон! Негоже тебе заноситься. Учись у Писемского. Приходилось мне видеть, как беседует он с королями. Со стороны взглянешь – подумаешь: два короля сошлись, а между прочим, и король не в обиде, и государева честь соблюдена.

– То-то! Дай Бог! – перекрестился Васильев...

Вот и кончилась лесная чаща. Перед глазами открылся необозримый простор. Повозки, выйдя из леса, спустились по дороге вниз на равнину.

– Ну, вот и свет Божий увидели! – обрадованно сказал Шевригин, стараясь не выдавать своего волнения. Ему было хорошо известно, что путь по этой равнине предстоит небезопасный. И чтобы занять своего соседа-немца разговором, внушающим особое уважение к Российской державе, он начал рассказывать о том, как великий князь Василий, отец Ивана Васильевича, недружелюбно относился к римскому двору. Однако папе в конце концов удалось все-таки уговорить великого князя отправить в Рим послов; поехали Герасимов и Трусков.

– Но ваш великий князь Василий, я слыхал от австрийского дворянина Штейнберга, хотел принять унию. И будто бы те послы им были посланы затем, чтобы объединить вашу церковь с католической? – сонно проговорил, покачиваясь в повозке, Поплер.

Шевригин рассмеялся:

– Сила наших государей еще и в том, – сказал он, – что их считают простачками зарубежные умники. Великий князь Василий не умел кривить душой, это верно. Когда его послы говорили о торговых делах и присылке итальянских мастеров, чужеземцам мерещилась уния... Государи наши не обманывают никого и себя не позволяют обмануть никому.



Живем домовито, по-христиански, кланяться никому не будем. И Бог не забывает нас! Наша вера – наша родина. Измена вере – измена родине.

Шевригин широко перекрестился, подумав: «А ну, если немчин выдаст нас! Убью тогда его. Непременно убью!»

Продолжая креститься, он сказал:

– Господь многомилостив!.. Он поможет нам благополучно прибыть в тот город Рим. Да и толмачей Господь послал нам добрых, совестливых.

Поплер молча пожал руку Шевригина, приветливо ему улыбаясь.

Всадники, окружавшие посольский караван, зорко оглядывались по сторонам, держа наготове обнаженные сабли.

Но кругом не было ни души. Прежние бои напугали жителей деревень – дома стояли обгорелые, пустые. Все население их ушло в леса, в глухие места, проклиная войну, проклиная немецких рыцарей.

– Вот гляди... – указывая рукой на опустевшие жилища, говорил Шевригин, – хотел ли этого наш государь?! Наш государь ищет мира с соседями, он печется о благе своего народа, и не гневен он на мирных людей, да еще в чужой земле. Не мы жгли деревни, а сами немцы да шведские разбойники. Боимся Бога мы, любим правду, и не нашим бы глазам видеть сие разорение... О том бы и хотелось нам поговорить, о мире, – с королями да князьями зарубежными.

Поплер молча, лениво слушал слова Шевригина. Ему дав-

но надоели европейские неурядицы. Он искал теперь тихой выгоды, поэтому свою саблю ландскнехта он и променял на должность толмача. Плохо, невыгодно становится быть ландскнехтом, особенно в войне с московскими людьми, того и гляди с жизнью расстанешься, а тут кое-что перепадет и от московского царя, и от его гостей иностранцев. Жить можно!

## Х

Холодно. Ветер воет в трубе. За окном рев деревьев в саду.

В своем ковельском замке задумчиво сидит князь Андрей Михайлович Курбский, греясь у камина.

Отсвет огня падает на мрачные, под низкими каменными сводами стены, убранные разным оружием.

Здесь индо-арабские мечи в серебряной оправе с широкими кожаными поясами, вышитыми серебром и шелками; алебарды, сабли индо-персидские, сталь которых излучает в полутьме синий блеск; шестоперы, на рукоятье и перьях украшения набивного золота. Этими алебардами, саблями и шестоперами он, князь, и его приближенные били под Великими Луками московских воинов. Этому оружию особый почет – вот отчего оно и развешано на коврах.

В другом месте – сабли, копья и прочее оружие, развешанное просто на каменной стене в большом беспорядке. В уг-

лах также сложено много оружия. Все это – трофеи, собранные с мертвых воинов-москвитян. Это оружие брали с собою люди князя Курбского, когда он водил их на татьбу.

Да, у него, у князя Курбского, много накопилось на совети прегрешений.

Вот и теперь. На полу около него лежат разные доспехи и шлем закрытый с низким гребнем и крутым профилем забрала. Эти доспехи и шлем захвачены князем при нападении его на имение князя Чарторийского, а принадлежали они когда-то одному из рыцарей войска графа Валленштейна.

Получилось и в этот день так, что только князь Андрей собрался тайно напасть на имение пана Красинского, который славился своим богатством, как в замок примчался королевский урядник и привез указ короля выступить в поход ко Пскову.

Сердито сплюнул Курбский, взглянув в угол на рундук, где лежала брошенная им королевская грамота.

Еще раз, на закате лет, ему, Курбскому, предстоит обнажить меч против своего отечества.

Мысли тяжелые, печальные тянутся в голове.

Неладно сложилась его жизнь на чужбине.

Во всем обманулся он.

Когда он вздумал самовластно распоряжаться в подаренных ему королем Сигизмундом владениях, – против него восстала шляхта. На Люблинском сейме она жаловалась на него королю и требовала у Сигизмунда-Августа, чтобы име-

ния, пожалованные Курбскому вопреки литовским законам, были отобраны у него.

Много крови себе испортил он, князь, униженно отстаивая свои имения.

Король не уважил просьбы шляхты, но и не успокоил Курбского. Шляхта еще больше озлобилась на «московского Иуду», как некоторые в гневе его обзывали даже в глаза.

Чтобы забыться, отойти в сторону от борьбы со шляхтой, вступил он в брак с княгиней Марьей Юрьевной Голшанской. Она была владельницей обширных и богатых поместий. Вступая в этот брак, он, Курбский, думал осчастливить себя богатством жены и родством ее с важнейшими литовскими фамилиями, но и тут все сложилось иначе, чем думалось.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.